

Викентий Вересаев

# В тупике



# Викентий Викентьевич Вересаев

## В тупике

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=623265](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=623265)*

### Аннотация

«В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сарганов, постоянный участник пиროговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово „бойня“ и очутился в Бутырках...»

# Содержание

Часть первая	4
Часть вторая	129
Часть третья	296

# Викентий Викентьевич Вересаев В тупике

*И ангелы в толпе презренной этой  
Замешаны. В великой той борьбе,  
Какую вел господь со князем скверны,  
Они остались – сами по себе.  
На бога не восстали, но и верны  
Ему не пребывали. Небо их  
Отрицало, и ад не принял серный,  
Не видя чести для себя в таких.*

*Данте. «Ад», III. 37–42.*

## Часть первая

*Жил старик со своею старухой  
У самого синего моря...*

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник

пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово «бойня» и очутился в Бутырках. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым.

Бешено дул февральский норд-ост, потому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

– Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя стирает белье. Брось рубить, пойдн, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, – холодной только, не горячей! – потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только

ворочусь.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засушенные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блестели.

– Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

– Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

– Да не убежит. Посмотри! – Она развернула перед ним простыню. – Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стираю! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же, – правда, хорошо?

– Ну, хорошо, конечно!

– Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

– Охота класть на это столько сил. Побелее, посрее, – не все равно!

– Ну, уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

– Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

– Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу сти-

рать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтоб вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промылить хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

– Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

– И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные, размах руки слабый. Расколел полено-другое, – и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

– Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

– Ну, что, достала керосину?

– Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

– Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

– Как чего? Муки, как ты сказала.

– Ах, ты, боже мой! Так и есть!.. – Она зачерпнула борщ

разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад. – Ты туда картофельной муки всыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

– Да что ты? Неужто картофельной? – Иван Ильич сконфузился.

– Как же ты не видел, что картофельная мука?

– Я вижу, белая мука, а какая, – кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

– Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь, сколько хочешь. А помните, в Пожарске какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай, – отвар головок шиповника; пили без сахара. После несытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

– А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..



Катя вдруг рассмеялась.

– Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

– Или, помните, калоши студенческие? Тусклые потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню милостливая девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

– Добрый день!

– А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухне, спросил:

– Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

– Вы, чай, лучше знаете.

– Откуда же нам знать?

– Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал, – в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

– Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша промолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

– Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

– Кто ж их знает... – Она застенчиво улыбнулась и вдруг: – Да все большевики!

– Вот как?

– И папаша большевик, и все наши большевики.

– И вы тоже?

– Ну, да.

– А что такое большевизм?

– Сами знаете.

– Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

– Представляетесь.

– Ну, все-таки, – что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

– Дачи грабить.

– Что?!

– Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

– Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

– Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

– Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

– Почему же именно дачников грабить?

– Они богатые.

– А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать – тридцать тысяч. И все у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

– Нет, мужики не считаются богатыми.

– Да почему же? Вон, у вашего отца – две лошади, две коровы, гуси, свинья, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

– Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые, да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

– Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. За-

чем ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упусти своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

– Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

– Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

– И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

– Ну, нечего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

– Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

– Молоко пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

– В город будем возить сметану, творог.

– Ну, и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

– До свиданья вам!

– До свиданья.

Катя протянула печально:

– Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накиннулся на нее:

– Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать перед нею большевизм. Удивительно своевременно!

– Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

– «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов – и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главным начальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность безусловно не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только что родила к истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

– Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

– Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

– Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге!

– Нет, серьезно, – сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

– Три рубля.

Катя ахнула.

– А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

– Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

– Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

– Марфа, Марфа! О многом печешься! – вздохнул Иван Ильич и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб оч-

ки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки, и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипя от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую комнату для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

– А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, – знаменитый академик Дмитриевский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силой солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большою популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю

кухню, профессор сказал:

– Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland!<sup>1</sup>

Он счищал ледяшки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

– Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

– Садитесь, сейчас самовар подогрею.

– Не надо, мы уж пили.

– Все равно, мне нужен кипяток, отруби заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

– А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с бриллиантом, свадебный подарок мужа, – пропало сегодня.

– Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

– Да... Так странно! – Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос. – Вы знаете княгиню Андожскую?

– Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

– Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции

---

<sup>1</sup> Привет из России! (нем.)



матросы сожгли в топке паровозного котла, все их имущества конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. «Как, – говорит, – можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!» – «Боюсь, – говорю, – потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца – нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали, – нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! – испугалась Наталья Сергеевна.

– Может быть, кто другой взял?

– Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтоб напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили, и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

– Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

– Тяжелое происшествие! – поморщился профессор.

– Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

– А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни, он старик. Делай с нами, что хочешь.

Катя нетерпеливо закусил губу и стала подкладывать в самовар угля. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

– Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

– Это – добровольческая армия!

– Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: пароходные команды в Феодосии бастуют, тре-

буют власти советам; в Севастополе портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

– Ведь ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

– Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

– Господи, что это творится в мире! – с отчаянием сказала Наталья Сергеевна. – Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, – что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

– Охота ему была идти в добровольцы!

– Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабиры какие-то. Объявили призыв, – что же мне, говорит, – скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

– Давно он вам не писал?

– Давно. И все в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

– Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

– Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил, и рассказывал, с жадной радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытной любовью смотрела на него.

– Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

– А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел – дольше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в кем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

– Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

– Как дела у вас в армии?

– Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

– Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

– Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое – например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

– И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

– Что это вы, Катя, мастерите?

– Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить. – Она надела пальто, повязалась платком. – Хотите посмотреть поросенка моего?

– Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.

– Только оденься, холодно.

Ветер шумно пронесся сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницей на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и повизгивание.

– Давайте миску. – Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: – погоди, дурачок!.. Ах, ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

– Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

– Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

– Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот, – сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете, – если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно

в этом шипенье и клокотанье ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся – жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

– Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем, – только все надеемся жить... А вот вы это умеете, – из всего извлекать настоящее. Как это редко!

– Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

– Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы, – только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется, – лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц. И кажется, – никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки публицистика «Правды», вместо поэзии – Демьян Бедный, вместо живописи толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

– Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

– Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская – без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик, – тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, – в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лушит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

– Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

– Ничего, пусть холодно.

– Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы выростали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

– Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?



Дмитрий озлобленно ответил:

– За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами, – прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете... – Он взволнованно замолчал. – Я никому не хотел рассказывать, – ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках, – сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость, – как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

– Это что такое?

– Ручную гранату под голову, дернуть капсюль и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

– Вот вы еще чем можете возмущаться! – улыбнулся Дмитрий. – Вижу, тащится Марк, на руке несет другую свою руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал

набит матросами. Огромный, толстый матрос, – я бы под мышку подошел ему, подходит ко мне: «Кто такой?» – Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. – «А-а, – говорит, – ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

– Раненого?

– Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль, – понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

– Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

– Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «Ну-ка, товарищ, пойди сюда!» Руку мне за пазуху. Нащупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, – поручик Дмитревский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. – «Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг – «ура!» Нет, не «свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лам-

па упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнатку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, – череп с перекрещенными мечами. Марковцы!.. Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. – «Господа! Тут еще товарищи!» Я собрал все силы, крикнул: «свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завыл и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

– И вот теперь, Катя, подумайте...

– Не надо говорить... – Катя блуждала вокруг глазами. – Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

– Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала.

– Нет, другой какой-то звон. Стеклянный, особенный.

– А ведь правда.

– Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледашки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

– Пойдем, – сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

– Дмитрий! – Она, задыхаясь, смотрела на него. – Митя! Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

– Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало-прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно, и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

– Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

– И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдем.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

– Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

– Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники, – слава богу, нагляделись на них.

– А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

– Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы – на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

– Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитриевским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

– А где Дмитрий?

– Дрова колет в сарае, сейчас придет. – Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась. – А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спро-

сил:

– Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

– Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла, – с огромными, широко открытыми глазами, с не улыбающимся лицом.

– Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

– Кажется, все переглядела.

– Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

– Нет.

– Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

– Ну, так и есть! Вот же оно! У плитуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

– Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

– Ну вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! – весело засмеялась она.

– Что вы, княгиня! – всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

– А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

– Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уж не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

– Ну, мама, дров наколол тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

– Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

– Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

– Не надо!

– Ну, Катя...

– Вот сколько ты дров наколол!.. Где же топор?

– Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

– Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегавшим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

– Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, – это что-то такое огромное, – как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес, – это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.



– Это оригинально.

– Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, – они были, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы – «наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя, – скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

– Это, Катя, сложный вопрос.

– Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

– Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего все равно не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

– Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

– Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

– Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока

твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

– Чего это она?

– Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда-ва, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на бережку сажу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сажу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,  
Рюмки гаснут на носу,  
Ночью нас никто не встретит,  
Мы проспимся на мосту...

Ты, говорит, большевик! Нет, говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут, – ей-богу, голову тебе проломлю!

– А вы не большевик?

– Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики, – неизвестно. Тащит каждый, что попало, – кто плуг, кто кабанчика; зеркала быют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца, – очень опохмелиться хочется. «Ишь, – говорят, – какой смирный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидют... Жизнь разломали, – как ее

теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «каждый» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

– Ах, Капралов, зачем вы пьете!

– Гм! Как пью, – все видят. А как работаю – никто не замечает!

– Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

– Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала, – глазами, улыбкою, открытою шейкою. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капралов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

– А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому, – ее много. А буржуазии горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

– Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалую грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

– Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

– Екатерина Ивановна, садитесь кофе пить, – позвала г-жа Агапова.

Катя чувствовала, – всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

– До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции! Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головой и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

– Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? допрашивала Агапова. – Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

– Сумеем!

Чахоточный адвокат Мириманов, – у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть, – покосился на стекольника и знающим голосом тихо сказал:

– Скоро уж не будет надобности вас защищать.

– Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

– Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете. –

Он помолчал. Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идейные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

– Дай-то бог! – вздохнула Агапова. – Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асей. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно-красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно-скучающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе, – потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные, тайно-дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан-Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе-призывает был припев:

Мадам Люлю,  
Я вас люблю!  
Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно-ластящая красота в ее песнях. И только мешал шум стекольщика и его чахоточный, как будто намеренно-громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом:

– Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

– Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.  
Ах где же вы, мой маленький креольчик,  
Мой смуглый принц с Антильских островов.  
Мой маленький китайский колокольчик,  
Изящный, как духи, как песенка без слов?  
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...

Гребенкин прервал пение намеренно-громким, ни с чем не считающимся голосом:

– Хозяин, эти стекла коротки, – наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

– Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,  
Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс.  
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..

Голос красиво и гибко пел, и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно-красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

– Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

– Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

– Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

– Что гадость?

– Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг – солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами



зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

– И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: «сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

– Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил, и чтоб переводить Прокла.

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые...

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

– Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

– Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впиалась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

– За что я полюбила тебя? – спросила она, как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно-усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски-беспомощ-

ное во всей фигуре, – и горячий, матерински-нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душой, говорил:

– ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

– Что же это такое?

– Как, что такое?

– Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

– А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

– Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

– Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

– Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

– Ах-х ты господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

– Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

– Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а вместо того десять подавишь.

– Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплуататоры!

– Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

– И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

– Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

– Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит, – стоит эта работа пятьдесят рублей?

– Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

– Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

– Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!

– Ах, эти интеллигенты наши мягкие! На казнь пойдет – не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором, – нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именниница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было вволю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немытыми овцами. Стояло десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористической хвастливостью хозяйка говорила:

– Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай – настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попить, как следует, всю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре – вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

– Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброта, с свет-

ло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошевом жалованье работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и сипло спросил вполголоса:

– Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

– Да. В чем тут дело?

– Я хотел об этом сговориться с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и покупают только то, что нужно им самим.

– И верно! – подтвердила Катя. – Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброда сурово поглядел на нее.

– Можно их убеждать. Но отделиться – значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

– Не годится!

– И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления Белозеров.

– Ах, Белозеров ваш, – воскликнула Катя. – Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого поче-

му-то всегда все есть, – и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о. Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

– По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О. Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

– Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброда наклонился к Кате.

– Вы при нем поосторожнее. Он – «даровой сотрудник», в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили

при нем с опаскою.

О. Златоверховников продолжал рассказывать.

– Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием зарубежных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели... «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко вьющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

– Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о. Златоверховникова.

– Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О. Златоверховников сказал веско:

– Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это – Фермопилы, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О. Златоверховников простился и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

– Дела, господа, очень плохи. Не сегодня-завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

– То-то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

– Это прекраснейший человек. И очень интересный, с



ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

– Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом». – Прекрасно! – говорю. – А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

– И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

– Это верно, – подтвердил Заброта.

– Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплуатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

– Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

– Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

– Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из

Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

– Какой миллион? – Агапов весело засмеялся про себя. – Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитриевский своим громким, полным голосом сказал:

– Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, – это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

– Та-ак-с!.. И отсюда выходит, – идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

– Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам, истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича,

но, от их поддержки, спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер, и в колючих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

– Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, – изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошиных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, – и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, – такую, каких она раньше

так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: бриллианты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, – они тоже уже назади? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новой, хватающей за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. *Les sanglots longs des violons de l'automne*<sup>2</sup>. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

– Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула, – они были едва знакомы, – и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,

---

<sup>2</sup> Долгие рыдания осенних скрипок (франц.).

Мне ночь не шлет отрады и забвенья –

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгиней. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уж не хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с включенными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

– Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгиней, за ними сзади – Иван Ильич, Белозеров и Заброда. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густой кучкою сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя взгляделась и удивилась.

– Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока!

Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец одна сказала:

– Дикая орда идет из города.

– Какая дикая орда?

– Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

– Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

– Не понимаешь! погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия значит, чеченцы. Правильно?

– Ну, да.

– Вы-то чего же, красавицы, испугались?

– Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побегим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

– Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

– Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

– Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

– Выпить сейчас хорошо, – согласился Белозеров. – Знаете, что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак,

старый.

– Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! – закричал он. – Вы дойдите одни до дому, – ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

– Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

– В Петрограде еще запасаю, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что перед отъездом с полпуда знакомым распродаю по два рубля за фунт.

– Ловко! – расхохотался Иван Ильич. – Слышишь, хо-хол? – обратился он к Заброде. – Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри! – погрозил он Белозерову пальцем. – Певец ты божественный, но душа у тебя... по-до-зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей мо-

лодости, о Желябове и Александре Михайловне, о Вере Фигнер, об огромном идеалистическом подъеме, который тогда был в революционной интеллигенции.

– И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастною утехой садиста. И на это все смотреть, это все видеть – и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

– А что они с народом сделали, – с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили, и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

– Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль ва-



гонов, стынут руки, нога немеет. А наверху – равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи, – говорю, – сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду»... Молчат, лущат семечки. Кажется, начни кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер... И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства станowych и околоточных... Вышел, наконец, какой-то человек из вагона, крикнул: «Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!» И чуть-чуть только пришлось двинуться, – один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся, – и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута, – и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Друга мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.

Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!

Течешь ты в Каспий, горяшка не зная.

Иван Ильич изумленно поднял голову.

– Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

– С Волги. Не мешайте, – строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!

Течешь ты в Каспий, горяшка не зная,

А за волной, волной твоей свободной,

Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какую горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы.

Что ж не несешь сынам своим свободы?

Тебе простор, тебе гулять приволье,

А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

– Да! И все-таки... Все-таки, – верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие, – вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель

наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами, – шапку он забыл у Белозерова, – грезил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучащим на весь поселок:

– Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья, кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

– Папа, это я.

– Чего ты тут улеглась?

– Леонид у нас.

– Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

– Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, проведать, отдохнуть.

– Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

– Ешь! Как ты похудел! И даже сединки в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич, – мрачный, с измятой бородой, – пил чай в молчал.

Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

– Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

– Ты из Совдепии?

– Да.

– Зачем приехал?

– Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по-прежнему в темных волосах ярко-седой клочок над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленным яйцом.

– Вчера вылупились. Посмотри, какие.

– Прелесть!

– Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках?

И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

– Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников, – стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8 – 10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какую открытою усмешкою слушает Леонид, – с добродушною усмешкою взрослого над пустяковою болтовнею ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

– Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем, – на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

– Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

– И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутон-

ны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

– Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи – очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол, – и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

– Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

– Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане... Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

– Отчего ты хромаешь?

– Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

– А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал...

Ленька, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

– Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабы...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убегавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

– Славная дачка! – В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

– А вы скоро будете здесь?

– Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

– Встречал ты за это время Веру?

– Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в женотделе. Чудесная работница. – Он насмешливо улыбнулся. – А дядя к ней по-прежнему?

Катя грустно ответила:

– По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее, сейчас же у него делается такое беспощадное лицо... Расскажи подробно, – что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

– Ну, что? Как дела у вас? По-старому, – арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

– Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

– А многих нужно?

– Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

– Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

– Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, – да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

– Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же, – физически уничтожать?

– Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, – уйдут к Колчаку, к Деникину и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

– Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уни-



чтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

– Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего – диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

– Но погоди, – сказал Иван Ильич. – Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

– Удивительно! Мы уж совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической войне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

– Но ведь ты говорил – пролетариат никогда не примирится со смертной казнью, в принципе!

– Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

– Предали революцию! – с тоской воскликнул он. – Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

– Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция – не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слыхали про ее великанов, – Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, – вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, – сколько вас?

– Вас много, потому что хамов много.

– Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, – что вы делаете в это великое время? Вы, – я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

– Нет, брат, избавь от этой чести!

– А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь, – да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остано-

вился перед Леонидом и спросил:

– Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

– Я уже вам говорил: отдохнуть.

– Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выго-ни буржуя из его особняка, помещика из усадьбы – и отды-хай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от каратель-ных экспедиций, – набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

– А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто, – ты верно знаешь, – всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал рабо-тать против них, – что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

– Станный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

– Донес бы, значит?

– И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть со-бою, он медленно и спокойно сказал:

– Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою ни-когда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи,

милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как он в Катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

– До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

– Нет!! – бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугун. – Сейчас же вон! Доносчик, палач, – не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

– Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

– Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

– Куда ты пойдешь?

– Наших тут везде много, приют найду где угодно. До сви-

дания! – мягко сказал он.

– Погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

– Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

– Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупою пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колот поленья зазубренным топором, то и дело соскакивавшим с топоризца. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордою коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, – никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть, – это было их высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее – пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь – лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копать и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

– Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

– Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

– Что?

– «Что»! Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

– «Щегольство»! Катерина Ивановна, посмотрите на меня, – правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

– Здравствуйте! Как живете?

– Плохо, конечно. Вещи распродают, – этим питаюсь. А вы?

– Все вещи распродал. Воруя.

– Распродам – тоже останется воровать.

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солн-

це лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели, как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось, – что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаше поджоги. Безбоязненное уклонения от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку. Сартановы уж

неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягили, вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

– Ишь, сволочь какая! Народ с голоду дохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

– Сколько катушка стоит?

– Сорок рублей.

– Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

– Дай, большевики придут, – сорок копеек будет стоить.

Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашнею своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

– Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

– А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Нет! Довольно! Поездили на наших шеях!



– Я вам не говорила, что мне желательно.

– Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,  
Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и стала перед нею.

– Послушайте. Марина, не видите, – очередь? Что же вы вперед заходите?

– Мне некогда.

– И мне тоже некогда.

– Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

– А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками, – «работаем»! Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

– Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары шурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

– А мы нешто плохие?

– Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный, – «доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть, – подай убогому человеку!» Ваше название – «файдасыз»<sup>3</sup>!.. Дай, большевики придут, они вам ваши подушки порастрясут!

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку, за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

– Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

---

<sup>3</sup> Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя». Так в Крыму татары называют болгар. (Прим. В. Вересаева.)

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

– Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

– Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

– Знаете, что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме, – я не смеюсь над ним, потому что знаю: он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь – ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошею улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

– Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

– Ну, вот, видите: все-таки, все-таки люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите, – почему все теперь стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошею мужицкою улыбкою.

– Верно. Осатанел народ.

– Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

– Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут – полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девочек за груди хватают, и не могли им ничего сказать, – сейчас за шашку. А мы чем виноваты? «К вам, – говорят, – след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он оказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата, как хочешь, обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает. «Я, говорит, через нее хлеб кушаю». – «Ну, вот покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали: «Вы, говорят, жаловались?» – «Мы». Отхлестали нагайками и – ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

– Да это и большевики не хуже!

– Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли, – только бы порядок был и спокой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от

него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

– А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

– Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а от туда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Ра-

бочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

– У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера, – их ночью убили, раздели догола, и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшей стеклянной дверью, крикнула на бегу: «Кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентой патронов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

– Скажите, здесь живет профессор Дмитревский?

– Это я.

– Вам письмо от вашего сына.

– Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

– Благодарю вас, меня товарищи ждут.

– Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

– Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий взошел на террасу еще с двумя офицерами.

Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

– Вам записочка от Мити, – сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

– Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими, подстриженными снизу усами, ответил:

– Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

– Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армии больше не существует, расплзлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

– Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения – и погоним красных, как стадо овец, вот увидите.

Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родинкою на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

– С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

– Ох, уж этот командный состав!.. Совсем, как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек – ведь сами говорят: Фермопилы – бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных, для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину, – он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

– Извините, вы мне позвольте написать письмецо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:



– На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

– Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

– Нет, так бывает.

– Да ведь это же хуже большевиков!

– Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

– Сдавшихся!

– А они не так?

– Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

– Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

– Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

– А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сы-

ты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

– Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

– Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

– А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем, – заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

– Вы говорите – в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабаният на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытаться, – все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, – поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

– У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по нескольку человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

– Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

– То есть как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

– Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, – поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. Он показал свои мозолистые руки. – У меня своего – вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

– Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот

угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

– Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

– А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

– Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катюю.

– Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! – говорил он. – Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

– Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

– Да.

– Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головой.

– Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор

взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

– Господи, какие у этого рыжего глаза! Какие пустые дырки! – Она нервно повела плечами. – Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытаться будет, и застрелит, если кто уйдет, – все!

Профессор растерянно усмехнулся.

– Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!

– Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, – сказала Катя.

Профессор изумился.

– Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

– Попроberусь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашней его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, – крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихою любовью смотрел на ее почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

– Катя, может быть, не хорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

– Нет, именно все скажи, именно все!

– Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость, – бросить товарищей в беде. Ну, а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: «уходи». А когда спрошу: «куда?» – он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет никакого. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве, с твоею активной натурой, ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорить обеим сторонам: «уходите!» – уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подошел солдат и сказал:

– Господин поручик!

– Да, да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

– Тебе, Митя, нужно идти. Прощай.

– Я тебя провожу до околицы. Мне все равно в ту сторону идти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне крупной рысью подъезжал отряд лохматых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие орудийные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточены, серьезны – и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

– «Уйти». Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь, что и здесь ты все равно только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

– Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

– Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги

были необычно пусты, нигде не встретила она ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы и что по дороге беззаботно бегают милые птички посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Подъехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы попоить лошадей. Катя с удивлением и радостью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

– Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

– Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздal лошадей перед корытом. Потом сказал:

– Не годится сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

– Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору, – по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афанасий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу,



вплотную, без всяких условностей. Это удивляло – и часто налаживало на откровенность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

– Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двухэтажный дом себе построил – вон, где потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград давят, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. «Дураки, – думаю, – как же не видите, что из вас кровь сосут?» У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребятишки сапожника – до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это – права неправильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики объяснили, я сразу и понял.

– Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром, вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке и его вдруг хотят с нее столкнуть.

– Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, идти – нужно, чтоб руки были так. – Он вытянул вперед раскрытые ладони, как бы все отдавая. – А у нас так. – Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

– Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок, – помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они большевики, насаждают «справедливый трудовой строй». И вы можете с ними идти!

Ханов с любопытством спросил:

– Ну, а с кем идти? С кадетами?

– Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто вправду за справедливость и свободу.

– Ну, хорошо. А вы вот: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

– Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкой по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих

греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.

– Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

– Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

– Дикая езда приезжал. Греков порубал.

– За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, со-

бирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

Было везде тихо, тихо. Как перед грозой, когда листья замрут, и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынные, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали – безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, – большевики обстреливают город, другие, – что это добровольцы взрывают за бухтой артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской деревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все – достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.

В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребилровку и принесла известие, что в кофейне Авраамиди сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатанной рубашке, копал у себя на огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно-повелительный голос:

– Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочную оградою, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

– Ну!! Живо!

Иван Ильич негодуяюще смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

– Что это за деревня? – Голос у офицера был взволнованный и решительный.

– Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.

– Скажите, пожалуйста, большая деревня?

– Большая.

– А жители кто?

– Больше болгары.

– Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к «вы» только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огородившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими

спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к шеям лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

Настало светлое воскресенье. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, – без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запрятанные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов – в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сиденья человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: «ура!» Автомобиль

помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве, – как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как незабываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезилось, – все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухнею, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы. Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но, как с человеком, у которого нарываает палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем, так было теперь и с Катей.

Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:

«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим

ростом. Контраст между идеалом и печальной действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие, – до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».

Открыла Герцена «С того берега»:

«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри города. Когда настанет их час, – Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, – как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. «Правый и виновный погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете»... И вот они пришли, – пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и безразличного омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с во-



дою, попил немного, поддел миску пятаком и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом, – как будто это тихая подводная пещерка глубоко-глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валяются скалы, поросшие вековым мохом, зловеще ползет по склонам огненная лава, – а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву, – козявочки опрокинутся на спину, подождут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

– Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно-революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

– А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

– Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие – свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только ввиду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два дня обещались приехать за ответом.

– И вы им верите? – смеялся Иван Ильич. – Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

– И ты – ты тоже бы пошла?

– Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:

– Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

– Ты... ты вправду пойдешь?

– Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный,

сурово-беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

Приказ, за подписью коменданта Седого, объявлял, что, ввиду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

– Кто там?

Голос их кухарки, – кухня стояла отдельно от дома, – ответил:

– Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

– Ты – купец Агапов?

– Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

– Погодите... Товарищи! В чем дело?

– Контрибуция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.

Агапов ласково улыбнулся.

– Контрибуция? Превосходно. Раз наложена, то я что же?

Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

– Ася, что это ты?

– Что вам нужно? – спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелка кушеток, снимки с Беклина на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.

В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

– Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйста в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.

Из-за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.

Высокий коротко сказал:

– Обыск нужно сделать.

– Вы чего же ищете?

Солдат подумал.

– Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал – прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

– Борька, вот еще.

Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

– Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

– Сымай.

Она сняла и подала.

– Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

– Ну, ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеб-

лющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

– До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взволнованные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук, – на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчаянием сказал:

– Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди – командир с револьвером у пояса.

– Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное об-

мундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

– Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

– Наши? Какую контрибуцию?

– Не знаю-с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

– Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд.

Укажите, кто это сделал.

– Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

– Кто такие?

– Извините, дал им слово их не называть.

– Все равно, назовете.

– Претензий на них я не имею.

– Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.

Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

– Не могу-с!

– Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

– Ну, это зачем же-с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здеш-

ний, – высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

– Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не делая обыска, они ушли.

Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно-золотые змейки. По подъемам Кара-Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев неосознанно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа, – помятая, слезавшаяся, – блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолебении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно-красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью... Петух? Это – «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красо-



та, – и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно-необычайный. . . Из косной земли выползло что-то гибкое, ярко-зеленое, живое, и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячевековой миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы, – и весело перебегает через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченных судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на рукавах. Катя весело спросила:

– Вам чего, господа?

– Оружие есть у вас?

– Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у рукомойника, Анна Ивановна поджаривала на сковородке кашу. Когда солдаты вошли с Катей, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

– Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

– Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежда военная, – должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

– Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую Катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк необуранной постели.

– Ну, что же! Нету ничего, – обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

– Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано три пулемета.

– Нет, что ж!.. Сразу видать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

– Садитесь, попьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись и со смущенною улыбкою ответили:

– Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячий настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно расспрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

– Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой, – товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

– А сами вы кто?

– Мы рабочие, из города.

– Отчего же вы такой загорелый?

– В горах уж целый месяц, – на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, организовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борьбу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

– Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

– Ну, да!

Иван Ильич спросил:

– А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал объяснять:

– Большевизм, это – за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

– И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

– Я вам сейчас все это объясню вполне полноправно. Мужик – темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обма-

нуть.

– Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса...

– Ваня! – позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шепотом накинулась на него.

– Ваня, да что же ты это? Арестуют они тебя, – а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неугомонный!

– Э, ч-черт! – Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

– А вы за кого стоите?

– Я стою за социализм, за уничтожение эксплуатации капиталом трудящихся. Только я, не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

– Вы говорите, вы за рабочих. Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли, – и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

– Отдавайте, не отдавайте, а она все равно власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец – желто-бледный, с черной бородкой – резко спросил:

– А скажите – вот эта дачка, – ваша, собственная?

– Ну... Ну, да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

– Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

– Вот, брат Алеха, дело-то какое выходит, а? Пойдем-ка в город, поищем буржуев – может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои, – виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

– И все-таки, все-таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы действительно товарищи, вас я так могу называть... А то – хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все – «товарищи».

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

– Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взволнованный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыльцом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом решительным шагом вышел командир отряда, в блестящих, лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышли Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно громким, далеко слышным голосом заговорил:

– Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую добровольческую армию, чтоб удушить рабочий народ и отобрать у него обратно свои поместья и фабрики. Рабоче-крестьянская Красная Армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чу-

жим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы выгоним их из роскошных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией, отберем съестные припасы и одежду, заставим возвратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

– Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуя и набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике трудящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем сегодня ночью три человека, – два из них – вот они, третий скрылся, записавшись вчера вечером в Красную Армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти вещи...

Солдаты с загорающимся негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

– Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он расска-

зал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болгарам:

– Вы, товарищи, имеете что-нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

– Что ж иметь... Дачник как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми глазами, указала на Мишку Глухаря:

– Вот этот взял у меня со стола золотые часики.

Агапов растерянными горящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

– А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

– Какой брат?

– Какой-ой!.. Не знаешь? Ну-ка, подумай!

– Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

– Ишь ты как! Не имеешь! Ну, а я имею. Он в кадетях служил офицером.

– Это мы исследуем, – зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

– Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

– Пьяны были, товарищ начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.



Леонид сурово оглядел их.

– Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи! – обратился он к своему отряду. – Наша красная рабоче-крестьянская армия – не белогвардейский сброд, в ней нет места бандиту, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы приятными разными вещицами. Эти люди вчера только вступили в ряды красной армии и первым же их шагом было идти грабить. Больше опозорить красную армию они не могли!

И как будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

– Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно-бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседок.

Леонид обратился к своему отряду:

– Как вы, товарищи?

– Расстрел! – пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

– Не надо расстрела. Выпороть довольно...

– Выпороть! – подхватила толпа.

Леонид помолчал.

– Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

– Много!

– Ну, двадцать пять. Больше разговаривать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

– Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по неосознанности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

– Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

– Ну что, Уляша, большевизм, это – дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала, – торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

– Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... – А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи! – обратился он к толпе. – Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую, трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путанно, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

– Товарищи! Вы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, Советы трудящихся... Значит, ясно, мы должны организовать и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни преворю в грезо-фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан-Франциско... И грубая, мутно-бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этой тихой, ароматно-гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.

Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронесли матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

– Зачем?

– Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из... – Он конфузливо улыбнулся: – из буржуазии. Кто не придет – на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

– Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

– Значит, и пожалуйста.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко откры-

тыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о. Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом дышал. Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

– Чего это вы нас сюда согнали?

– Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски-Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик-болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

– Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

– А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

– Член ревкома, – коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито

спросил:

– Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

– Пойду, еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски-Керым. Комендант-матрос ответил:

– Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:

– Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

– Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.

– А-а! – зловеще протянул военный. – Ну, до свидания!

Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

– Граждане! Я должен объявить вам печальную весть... А

впрочем – для многих может быть и радостную, – поправился он. – Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о. Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

– На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров объявил:

– Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые, – все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Аврамиди. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

– Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

– Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

– Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете, – нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

– Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

– Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

– Ах, мама, ну что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранныю в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, – узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

– Что же не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.



Катя властно ответила:

– Можете идти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: «Поскорее велели!» – и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

– Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.

– Старенькая моя! – умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

– Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихой улыбкою Иван Ильич ответил:

– Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

– Ну, идем! – весело сказал Иван Ильич.

У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о. Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали

своим отдельным, чуждо ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головой.

– Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

– Доктор, помогите! – позвали Ивана Ильича.

Старик священник лежал в обмороке.

– Скорее, граждане! – торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

– Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

– Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару! – приказал он болгарам.

– Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

– Не ваше дело! Прошу не разговаривать! – взволнованно

кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капралов смотрел, сложив руки на груди.

– Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед скрипевшим подводам, поджав губы, без слезинки, – она привыкла к непрерывным бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

– Запьянствовал комендант в Эски-Керыме, потому сам не приехал.

– Это Васька Сыч, комендант-то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди, – комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик еврей с глазами навывкате и отвисшей губою; сизолицый отставной полковник. Сзади – линейка с пьяными красноармейцами. На шоссе откосах в глубокой предрассветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у

бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар-подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов-миллионеров. Среди них белел огромный особняк с воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун-аль-Рашида в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался красный флаг. Два часовых с винтовками отгоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.

Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

– Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сгорбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом!

– К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

– Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

– Вы мне позвольте только пальто передать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли, – как же он там, в окопах...

– А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

– Почему вы ей говорите «ты»?! Мы вам «вы» говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить «ты»?! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми.

Солдат с удивлением оглядел ее.

– А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

– Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенсне приставала к другому часовому:

– Но ведь мой муж – советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

– Нельзя, товарищ!

– Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

– Нет, только в окопы пошлют. Вон струмент раздают...

Ничего, пущай поработают в окопах.

– Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

– «Больной». Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто-оранжевые ленточки матросских фуражек.

– Комендант!.. Сычев!

– Который?

– Вон тот, рыжий.

Дама в пенсне кинулась к нему.

– Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

– К черту ступай! – Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

– Гнать всех в окопы! Никаких разговоров! – крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный подъезд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим с матовым, холеным лицом, в модном костюме, нес на левом плече кирку, а в правой руке держал объемистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

– Леонид!

Он удивился.

– Катя! Ты как здесь?

– Папу забрали, гонят на окопные работы.

– Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

– И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные... Священник Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в подъезд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем-то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

– Э, черт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

– Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

– В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагал вдоль набережной. Катя побежала за ним.

– В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

– Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через «товарища Леонида»? С какой стати мне одному уходить? Не благодарю тебя.

– Ну, папа... погоди...

– Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя остановила его.

– Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид нетерпеливо нахмурился.

– Освободили тебе его, чего же еще?

– А других? А за то, что комендант этот больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

– Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: «На что мне эта рухлядь?»



## Часть вторая

В Отделе, народного образования, – сокращенно: «Отна-робраз», – работа была ключом. Профессор Дмитревский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили, – он был не коммунист. Комиссаром был юный студент-математик, не пытавшийся проявлять своей власти и конфузливо уступивший руководство Дмитревскому. Официально Дмитревский числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настороженно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитревский сделал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что бари-чи-гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребяташки. И

хорошо было, что Дмитревский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками, объяснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что религия – это частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа не место в школах, где для совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитревский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех других отделов выцарапывал жалованье для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитревский.

– Ну, что?

– Есть! – отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мяклых русских сотрудников он был как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали:

– Арон Моисеич! – он весь взвизывался и, вместо «что?», спрашивал:

– Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил

свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизировал только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Наробраз делал объявления: «предлагается гражданам», Белозеров в своей области выпускал «приказы» и грозил расстрелом саботажникам, которые не регистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на огромный оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалования по одной-две тысячи. Получал он какими-то способами и вино, и сахар, и мясо. Занимал две роскошные комнаты с ванной в реквизированном особняке. И он говорил:

– По душе я всегда был коммунистом.

Кате отвели номер в гостинице «Астория». Была это лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплеванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалование. Самовары рядком стояли на лавке, – грязно-зе-

ленные, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:  
– Кричи не кричи, а паном все равно не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То и дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По-всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

– Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

– Объясните мне, пожалуйста, – что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое-то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

– Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кру-

гу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым.

Жизнь катилась, шумя и бурля, – дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерица Сорокина, служившая в госпитале. Она иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача-хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала, – и беспомощный ужас стоял в бледных глазах.

– Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупозным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит, ничего не говорит, а смотрит, как будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят, – злые, острые.

И вчера мне рассказал генерал: Швабрин по ночам приходит – и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложа руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

– Эту твою фельдшерицу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело, – больной бредит.

Но Катя видела, – в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупною дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним, – труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с прикушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел, – глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти, – говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельдшер этот: «Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу».

Объявили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: «Кто не регистрируется в указанный срок, объявляется вне закона и будет убит на месте».

Пришел к Миримановым их племянник Борис Долинский, – тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

– Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить, – теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

– Так ведь у меня же, правда, туберкулез легких. Они не возьмут.

– Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку-то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

– Ну, что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

– Во-первых, я этого точно не знаю. А во-вторых, если он действительно там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству «рабоче-крестьянской власти».

– Мама говорит, – пойти, зарегистрироваться.

– Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же «Астории», в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красноармейцы, советские барышни. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке, с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всею душой. Был он бритый, с огромною нижнею челюстью и придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза, – он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

– Товарищи, можно сесть к вашему столику?

– Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными верхушками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки расспрашивать солдат, – кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос, – высокий и крепкий красавец с веселыми глазами, – рассказывал: он – спартаковец, был арестован немецким командованием за антимилиитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подве-



шивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

– Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая, – в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

– А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим руководителям. Мы, дескать, не пойдем, – а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно, как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каждый бросайся вперед и верь, что и другие бросятся. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель ткет паутинку и налаживается, чтоб приникнуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

– А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

– Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру,

науку, покоряли природу, – и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню, и людей – в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi rebiata! И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, евших с заломленными на затылок фуражками.

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходявшем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна, – полная дама с золотыми зубами, – хотела поставить им простой стол, – они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек, – и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя, – они слушали, не глядя, как будто не с ними говорили, с predetermined нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе в саду ужин на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катей на скамейке. Мо-

лодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колот тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

– А на кой они нам черт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас хватали. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь, – «я, – говорит, – образованный!» – А кто тебе дал образование? – «Отец». – А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

– Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

– Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

– Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие предки. В комнатах у вас, – как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чахотка, сыпной тиф. К нам войдете, – никогда даже не поздороуетесь, шапки не снимете.

– А вам так нужно: «Ах, милосливая государыня! Наше вам низжайшее! Позвольте ручку поцеловать!» – Солдаты на скамейке засмеялись. – Прошло времечко!

– Нет, нужно только, чтоб вы сказали: «Здравствуйте!» Чтоб видно было, что вы по-человечески относитесь.

– Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред – от

буржуазного элементу. Как ужа вилами, прижать – и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, Антанту призывают! Всю эту сволочь нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

– Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

– Что?! – Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю. – Не устроим?! – Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь. Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не верите?!

Катя смеялась.

– Конечно, не верю.

– А говорите, тоже социалистка! – Матрос с изумлением оглядел ее. Какая же вы социалистка?

Сгущались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

– Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все видят! Уничтожить! Вот как с офицерем было! Попищали они у нас, как погоны мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонями ихними! А то в топку прямо, – пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который гудел в эти годы во всех головах и, казалось, вдруг обнаружил звериную сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и жажды крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь, рассказывал:

– Мы на фронте только в газетах прочли, что погоны снимают, – не стали и приказа ждать, прямо офицера за погоны: «Ты что, сукин сын, погоны нацепил?» Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Согнали всех офицеров в одно место, велели погоны скидать. Иные плачут, – умора!

И другой отозвался, бородатый:

– Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: «Ваше высокопревосходительство!», «Ваше благородие!», «Рад стараться!». А тут командиру корпуса: «Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить». Не даст, – в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

– Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да не ест! Не хочешь работать, – к черту ступай! А как раньше бывало: руки белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими перьями, а мужик на него работает, да горелую корку жует!

– Вы говорите – труд. А я вот смотрю – меньше всех трудитесь сейчас как раз вы все. Я даже не могу понять: как не

скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшедше сверкая глазами.

– Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руку и потащила к костру.

– Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные, барские ручки! Белые, мягкие, и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос сконфузился и спрятал руку.

– Нет, нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки только в прежнее время у барышень видела, которые всегда в перчатках... Если сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо на мушку!.. Ха-ха-ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

– Мы сейчас кровь проливаем.

– «Кровь»... Вы – армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все только говорят: «Вот бездельники! еще больше, чем прежние офицеры!» У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: «Мы кровь проливаем, потому бездельничаем».

– Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смирнее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

– А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

– Штучку эту видите? – Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках. – Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

– И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

– С чего? А они как? Попадись к ним, – тоже разговаривать мало станут.

– И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

– Вы раньше крестьянином были?

– Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

– Ну, а так: не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

– Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

– Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший, вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

– Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиной пас! Понимаешь ты это дело?

– Ну, свиной пас? Что понимать? – пренебрежительно спросил матрос.

– Десять лет свиной пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе. Руби голову, а не отдам вам! На, – вымай тесак свой, руби!

– Вот дура! – Матрос растерянно взглянул на него. – Пьян!

– Нет, не пьян. И пусть Николай Второй опять будет!

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа; если не будут внесены к сроку. С гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционной строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на



дней только было объявлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел объясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

– Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. «Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете – сгною в подвале!» – Он обратился к Кате: – Ну, объясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой, – откуда же прикажете достать денег? Все, что было, отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер? – спросил он жену. Приказчик из универсального магазина Оганджанца и К°, я его помню, в мануфактурном отделении торговал, – молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слышал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные, в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники сообщили ей, что заключенные спят

на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

– Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

– Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

– Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие и их пропускали не в очередь. Наконец, вошли.

В просторном кабинете стиля модерн, за большим письменным столом с богатыми принадлежностями, сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивною нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любови Алексеевны странными своими глазами, как будто разошедшимися в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

– Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

– Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь.

Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

– Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами.

По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

– Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

– Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

– Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

– Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным, размашистым почерком было написано:

«Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика».

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя

властно сказала:

– Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстой, заплаканною женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее, острое наслаждение. Любовь Алексеевна подошла.

– Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

– Вон!! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

– Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

– Где хотите, доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсультром был у самых крупных фабрикантов; рабочих засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер, – будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

– Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

– Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

– Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатила по мраморным ступенькам вниз.

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была как сумасшедшая, вырывалась из Катиных рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То и дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучащим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо – двое мужчин и две женщины.

– Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса, властно спросил:

– Кто живет в этой квартире?

– Тут много живет...

– Рабочие или из буржуазии?

– В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я – советская служащая...

– Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любови Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте.

С револьвером сказал:

– Товарищ, что ж вы? – Он повел рукой вокруг. – Выберите, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

– Скажите, что это? Обыск?

– Изъятие излишков у буржуазии. Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

– Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на постели с бес- сильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафта- лина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладыва- ли на диван стопочки батистовых женских рубашек и каль- сон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табач- ной фабрики, спросила нерешительно:

– Товарищ, а зеркало можно взять?

– Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщины разгорались глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

– Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

– Послушайте, вы говорите, – изъятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

– А где ваш муж?

– Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

– Та-ак... – Мужчина усмехнулся. – Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головою в подушку.

– Господи!.. Господи, господи! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

Через день Катя читала в газете «Красный Пролетарий».

## **«ПОХОД НАШИХ РАБОЧИХ НА БУРЖУАЗИЮ»**

22-го апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и Комслужей и разных комиссий при Завкомах. Зал театра «Иллюзион» был переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих. После этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на западе.

С внеочередным заявлением выступил предзавком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и эту же ночью произвести первое нападение на буржуазию для изъятия излишков.

Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик у всех делегатов собрания.

Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, понасупились брови, сжались невольно в кулаки мозолистые руки. Уж



мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро. Члены союза «Всерабис» сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затянул родную нашу «Дубинушку». Мощный голос певца звучал истинно революционным подъемом, и дружно подхватила рабочая масса припев. Все слились в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не оставалась ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах.

Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь была за рабочей конференцией.

Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

– Петь можно? – спросил у меня один рабочий.

– Не стоит, – ответил я.

– Чего бояться, ведь мы же рабочие! – возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

*Спартак.*

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и

внесла в ревком. Мириманова выпустили.

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катей, пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

– Все это, конечно, очень хорошо. Но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатейшего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до сих пор не заплатили жалованья. Дело мы разворачиваем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов, – его выбрали заведовать местным отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно-интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капралов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дашниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашались платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно поче-

му-то их прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

– Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатною.

– Ну, где ж бесплатно! Барышни с голоду умирают. А болгары платить могут, они богатые.

– Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

– Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

– Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах за-  
глись смеющиеся огоньки.

– Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

– Но ведь сами же они соглашаются платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

Глаза Дмитревского смотрели растерянно, но тем решительнее он ответил:

– Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа. Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

– Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков. У кого детей нет, или учить не желает, – разве согласится платить?

– Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками, ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжкий, отшатывающий запах: там уже третий день смердела в кустах дохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно не чищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору. И вдруг из сумрака выплыло навстречу ужасное лицо; кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу въевшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скучливо смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг прибойною волною взметнулась из души неистовая

злоба. Господи, господи, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они, – слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава, да, да, – и слава, привет тем, кто с яростною решительностью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец-солдат в «Астории», и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были «взбунтовавшиеся рабы» с психологией дикарей: «до нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!» А, может быть, – может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было, – непознаваемое, глубоко скрытое, – великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней?

По безумным блуждая дорогам,  
Нам безумец открыл Новый Свет,  
Нам безумец дал Новый Завет, –  
Потому что безумец был богом!

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнужданные толпы, луцившие семечки под грохот разваливающейся родины, может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел, который осветит заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато-светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там внизу, какая красота в этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниет дохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы проносились, – жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше наскაკивающий матрос с тесаком, и бритый человек с темно-сладострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхищавшие помещичьи усадьбы. Она видела в России эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одною меркою для себя и с иною

меркою – для других. А с высоты, – с высоты, может быть, не так? Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И, может быть даже, великая, благословенная правда и полное оправдание?

Из верхнего этажа дома Мириманова, – там было две барских квартиры, вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, – только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

– Куда ж нам выселяться?

– Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, – он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, – ушел с многочисленную семью к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женою у Мириманова.

– Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки, – какая женибудь нужна законность. Ну, выселили, – предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

– «Революционное правосознание!»

– Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленки рыдала.

– Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец добирался. Ему грубо отвечали:

– Записали вас, – чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

– Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

– У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

– Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояли с Сорокиной длиннейшую оче-



редь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

– Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

– Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

– Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

– Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

– Ну, и идите к нему.

– Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

– Товарищ, куда к нему пройти?

– Что?

– Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

– Ах, господи! Комната № 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу. Катя спросила:

– Получили ордер?

– Да.

– Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу. Катя с Сорокиной вошли

в комнату № 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

– Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

– Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо.

Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

– В чем дело?

Катя объяснила.

– Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел. Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

– Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

– Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

– В чем же закон?

– В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

– Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

– Что вы сказали?! Товарищи, вы слышали, что она сказала?

Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

– Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

– Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

– Особый отдел?.. Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей? Хорошо.

Он стал писать.

– Вы не отпираетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

– Не отпираюсь и еще раз повторяю.

– Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем,

вы слышали. С этую бумагою отведете ее в Особотдел.

Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам.

В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора – приведенную телушку.

– Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

– Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками.

Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

– Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

– Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

– Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б! – распорядился он.

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткою. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашенный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

– Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

– Нет.

– Так как же?

– На полу. Что тут есть, – у каждого свое, доставлено из дому. Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

– Что надо?

– Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

– Ну? что такое?

– Скажите, где же мне тут спать? Где присесть?

Солдат изумился.

– Где хочешь.

– Как же мне? На голом каменном полу? Дома даже не знают о моем аресте, у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

– Не полагается.

– Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.

– Пошел он к тебе!

– Потрудитесь не говорить мне «ты»! – вскипела Катя.

Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.

– Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла!

Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от напозавших вшей. И мелькало пред глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую ночь, – жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и сообщили, что они – офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

– А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать? Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести... Провела я их в комнату, –

вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. «Офицеров прятать?» Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь – в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние, – раньше казалось, навсегда минувшие, – времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странную представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова «Аскалонский злодей» и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжело стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизменно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б, «сомнительная». Из нее переводят либо в камеру А – к выпуску, либо в камеру В – для расстрела. На днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилося сердце, что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них – тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

– Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

– Вы родственница товарища Сартанова-Седого?

– Это к делу не относится! – резко оборвала Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

– Бывшее звание ваше?

– Дворянка, – с вызовом ответила Катя. И задышалась, и прижимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

– Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

– Я вовсе не от допроса вашего волнуюсь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в «хамском царстве» вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

– И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.



Бритый улыбнулся тонкими своими губами.

– Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно увести, – обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

– Я имею сделать заявление.

– Пожалуйста.

– Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

– Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подследственных, дела их еще не рассмотрены, может быть они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им «ты». Неужели же вас ни разу не поинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?.. И потом. Вы вот выявляете мою вину, – а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало?

Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

– Сарганова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда вводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкой все с соболезнаванием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было, – все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.

Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это, правда, смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острила, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных

мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитриевский. Особенный эффект на них произвело, что она двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.

Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытой улыбкой сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.

В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитриевский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.

Катя спросила:

– Нужно обязательно участвовать на демонстрации?

– Обязательно!

– А я не пойду. Противно. По принуждению.

Дмитревский растерянно взглянул на нее.

– Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.

Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке «Ткачи», оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.

Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загредел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии, – Катя его однажды видела у Миримановых, вполголоса говорил соседу:

– Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ни-

ми качались плакаты и знамена.

Маленький мальчик с одушевлением говорил:

– Мама! Мама! Гляди! Вон – они идут! С флагами.

– Значит, крестный ход ихний.

– Осади назад!

Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.

Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:

Весь мир насилья мы разроем  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим!  
Кто был ничем, тот будет всем.

И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющею походкою. Проплывали плакаты на длинных палках:

Да здравствует международная социальная  
революция!

Да здравствует книга в руках пролетариата!

– В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!

Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья-рабочие и враги-капиталисты!

У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:

Мы потеряем лишь оковы,  
Но завоюем целый мир!

Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.

Вперед, друзья! Идем все вместе,  
Рука с рукой, и мысль одна!  
Кто скажет буре: «Стой на месте!»  
Чья власть на свете так сильна?

Задержка какая-то впереди, процессия остановилась. Худощавый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.

– Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо!

У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно-красным огнем... Не может же этот не знать обо всем! А если знает, как может смотреть так благодушно и радостно?

Опять двинулись. Плакат:

Женщины Востока! Вы были рабынями мужчин, теперь вы стали свободными людьми! Дружно на общую работу для счастья трудящихся!

Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Как будто из мрачных задних комнат только что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем прекрасный мир.

Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь – площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз. Один за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела вокруг жадно прислушивающиеся лица, празднично светящиеся глаза. И как будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое-то великое достижение.

Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее настроение – и потом вдруг отшатывало: столько злобы и ненависти было в несшихся призывах. Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей?

Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучащая в них музыка настроения и крепкой веры.

А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось, – слишком он приспособляется, слишком не прямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него – светлая, благодатная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.

Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:

– Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть, необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!



Катя шла на службу и встретила на улице с профессором Дмитриевским. Он взволнованно держал в руке газету.

– Вот. Читали? О Первомайском празднике?

– Нет.

– Прочтите.

В отчете, подписанном «Спартак», заключительные слова речи профессора были изложены вот как:

«Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадиться не прекраснотелой болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!»

Профессор в бешенстве воскликнул:

– Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.

В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услышав имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.

– Это Спартак отчет давал... Спартак! Поди-ка сюда!

Медленную походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром... Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!

Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.

– Я очень извиняюсь... Значит, я не расслышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не выр-

бишь и топором.

– Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.

С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:

– А не все вам равно, профессор?

Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писателю, – ему все равно! И с этою доброю улыбкою...

– Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию. Вот оно. Здесь только восстановлено то, что я действительно сказал.

Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:

– Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник... А кстати, профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно-научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.

– Об этом может быть речь, когда появится опровержение.

Профессор с Катей вышли. Катя воскликнула:

– Не напечатают! Вот увидите!

– Нет, это не может быть.

– Да как же им напечатать? «Не штыком, а просвещением». Когда они именно проповедуют, что штыком. – Катя засмеялась. – И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их

компании!

Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся. Потом оказалось, метранпаж затерял заметку. Редактор просил непременно прислать новую и опять очень извинялся. Наконец, оказалось, – времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом-то празднике.

У подъезда «Астории» стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал врастяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.

– Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало!

Ломовик лениво оглядел ее.

– А тебе что?

– Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте, – выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба, получают они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.

Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.

– Съедят и так.

Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда-нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.

Ломовик усмехнулся.

– Э! – Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.

У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец покрутил голову, улыбнулся и, как бы отвечая на что-то Кате, сказал:

– Nein, es wird bei Ihnen nicht gehen (Нет, дело у вас не пойдет)!

А у Миримановых происходило что-то странное. Вечером, когда темнело, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мириманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.

Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему. Леонид либо отвечал шуточками, либо, с пренебрежительно-задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.

– И это, по-твоему, допустимо? Это хорошо?

– Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь, – все равно, сейчас же раздерутся.

А когда Катя попадала в слишком чувствительное место,

Леонид становился резок и начинал говорить каким-то особенным тоном, – как будто говорил на митинге, – не для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.

Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, – что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

– Ну, как же, – неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, – и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

– Девайся, куда хочешь, – нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «Очистить квартиру!» Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, – сырая, в подвале, до того уж вредная! А у

меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

– Пройдешься мимо, – отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек, – и пожалуйста, живите трое в пяти комнатах. Значит, – спальня там, детская, столовая, – на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребяташками, – ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

– Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, – и вы тоже хотите быть такими же?

– Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! «Погоди, – думаешь, – сломаем вам рога!» Вот и дождались, – сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, – так мы этого не считаем.

– Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и велико-

душны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.

– Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать, как волков. Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а они нам – двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы-то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за нас... Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.

И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злоба тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отношение именно, как к волкам. Чего злобиться на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волчята, которых нужно пожалеть. И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.

Катя устало спросила:

– Вы сами, значит, коммунист?

– Ну, конечно.

– И много у вас на заводе коммунистов?

– Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющихся. Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку, да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда? – Никогда. – Ну, вот, значит, ты и коммунист.

Катя шла по набережной и вдруг встретила – с Зайдбергом, – с начальником жилотдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно извивающимся, большим ртом и с видом победителя. Катя покраснела от ненависти. Он тоже узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.

– Эй, ты! – раздался с улицы повелительный окрик. Ехало три всадника на великолепных лошадях; на левой стороне груди были большие черно-красные банты.

– Что скажете, товарищи? – отозвался Зайдберг.

– Где тут у вас продовольственный комиссариат?

– Вот сейчас поедете по переулку наверх, потом повернете вправо...

– Веди, покажи.

Зайдберг холодно ответил:

– Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.



Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наско-чил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.

– Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!

– Но позвольте, товарищи, я вам...

– Ну!!

Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожел-тело, губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повер-нул со всадниками в переулок.

И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди – пышные чер-но-красные банты.

Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им луч-шие казармы. Они слушали приветственные речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балкона ревкома тов. Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.

В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.

Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье. Любовь Алексеевна крикнула с террасы:

– Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.

По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от захо-дящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбене-

ла, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом, и с взволнованным ожиданием глядя на Катю.

– Вера!!

Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.

Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы, и опять начинали целоваться.

– Как ты сюда попала?

– Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников... А ты работаешь с нами?

– Да, в Наробразе.

– Как я рада!

Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:

– Захотят они меня видеть?

– Мама, – конечно. А папа... – Катя печально опустила голову. – Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.

Вера страдающе прикусила губу.

– А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала.

Ты где будешь жить?

– Еще не знаю. Пока остановилась в «Астории».

– Ой, в «Астории»!.. Перебирайся ко мне.

Вера ужасно обрадовалась.

– Вот хорошо, Катюшка!

– Только вот что: в жилищном отделе сказали, что мне не

позволят выбрать сожительницу, а пришлют сами. На днях был жилищный контролер...

Вера спокойно усмехнулась.

– Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по телефону.

– А ты знаешь, что со мною там было? – Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась «хамским царством», и как сидела в подвале.

Лицо Веры стало холодным.

– Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем, как у «объединенных дворян». Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?

Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.

– Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!

Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Миримановой, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как будто задернулись непроницаемою внутреннею пленкою.

– Да ведь с этим генералом, может быть, вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!

Катя враждебно возразила:

– Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее-то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!

– Ну, а по существу-то, – ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны...

– Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок, – это тоже отдельный эксцесс?

– Нет, это, конечно, нехорошо... Но ведь власть только что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.

Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная, – и это влияние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!..

Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.

Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их разъединяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель, – Катю поразило, какое у Веры рваное белье, – и долго еще тихо разговаривали в темноте.

Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда

получила вне очереди.

Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:

– Да, знаешь, сегодня Корсаков, предревком новый, осмотрел помещения арестованных. Верно, – даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразие! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под суд.

– Ты ему все рассказала?

– Ну да.

– О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.

На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.

Смеющийся женский голос спросил у входа:

– Товарищ Храбров, вы здесь?

Начальник штаба нахмурился.

– Здесь.

Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:

– И не поцелует руки! А еще бывший офицер!

– Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подав-

но. – И сухо спросил: – Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литературу я вам выдал.

– Опоздала. Пошла на вокзал напиться, – ужасно хотелось лимонаду! Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у нас везде бестолочь. Воротилась, – поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, загаживаем, и ничего не создаем.

– Вы говорите, вы – жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.

Она вздохнула.

– Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете сесть, а я все-таки сяду.

Дама села и закурила папироску. Ногу она положила на ногу, и из-под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно-розовом чулке и туфельке с высоким каблучком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые выпуклости груди, и в Храброва шло от нее раздражающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.

– А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно-поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне... – И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос: – Зачем вы так выматываете себя на работе?

– Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.

– Ну, да... – Она молча смотрела на него большими чер-

ными глазами и вдруг тихонько сказала: – Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.

– Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для «нас»?

Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно ответила:

– Ну, если вам так хочется... «для нас»...

Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:

– Люся! Довольно!

Дама отшатнулась.

– Какая... Люся? Я – Мария Александровна.

– Вы – Люся Гренерт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами... И вот – стали шпионкой.

– Коля? – Она в испуге смотрела на него.

– Стыдно, барыня!

Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками.

Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.

– Как же я вас не узнала?... Да, верно: я ихняя шпионка...

Послушайте меня.

Она робко огляделась.

– Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека

полгода, меня не допускали. Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали... Боже мой, скажите, что мне было делать!

– Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не идти.

– Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы знаете... Мне все-таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать... Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его – все-таки расстреляли!.. О, если это зерно, я им тогда покажу!

И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:

– Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор... И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер, – он и в особом отделе, – он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он-то меня к вам и подослал... И я боюсь его, – в ужасе шептала она, – он ни перед чем не остановится...

Снаружи вагона слышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.

Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними, – командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.



Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею. Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.

Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь:

– Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!

Храбров раздраженно обратился к Крогеру:

– Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литературу, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать, и велел гнать ее от вагона.

Крогер молча сел.

– И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм? Это и для них полезно, – они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений...

Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкой приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:

– Да, это я вам хотел сам приказать.

Они просидели часа два.

В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:

– Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится. Комбриг говорит, что без него окажется, как без рук.

– Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.

– Конечно. Спец, как спец. Следить нужно.

Крогер упрямо возразил:

– Арестовать нужно.

Поздней ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой норд-ост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметеному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стучались в темноте о рельсы.

Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною. Храбров взгляделся и узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.

– Товарищ Пищальников, это вы?

– Я, товарищ начальник.

– Чего это вы не спите?

– Не спится что-то. Все о доме думаю.

– Вы разве не добровольно пошли?

– Нет, по мобилизации взяли... Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?

– Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами

придется манежиться. Больно уж напористы белые.

Казак помолчал и вдруг сказал:

– Ваше благородие!

Храбров вздрогнул.

– Что вы, товарищ, с ума сошли?

– Никак нет... Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?

– Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!

– Никак нет... А только вот вам крест, – казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился, – вы не от души им служите, нехристям этим.

Все время начеку, все время внутренне поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шепотом спросил:

– Крест у тебя на шее есть?

– Есть.

– Покажи.

Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ощупал его, оглядел.

– Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.

Казак радостно ответил:

– Так точно, ваше благородие!

– Хочешь России послужить?

– Что прикажете, все сделаю. Рад стараться.

– Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.

В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросила захватить ее до Арматлука: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитриевский поручил ей кстати ознакомиться с работой местного Наробраза.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, осевшая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним – Горелов. Его горбоносый профиль в пенсне качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные

зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали, – что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:

– На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.

Леонид пренебрежительно спросил:

– Что ж он у вас такое говорил?

– Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

– Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

– И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

– Интересно, – какого он цеха?

– Иглы.

– Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплуатируют их совсем, как раньше.

– Само-собою! Раз не ваш, значит – спекулянт и буржуй!

– Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обревизовать все эти выборы. Дело очень темное.

– Темное, несомненно, – отозвался Горелов и мягко обратился к Кате: – В провинции сейчас это то и дело наблюдается: более достаточные рабочие мелкобуржуазного склада пользуются темнотой истинно пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.

– Ничего! Скоро просветим! – сказал Леонид. – Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

– А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехнулся.

– Конечно!

– А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

– Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять камеру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяной беспощадностью сеча лошадь нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

– Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:

– Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые-перечиненые дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид предъявил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

– Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На

великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкой из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи несло сосредоточенное жужжание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

– Вот человек – Горелов этот! В чем душа держится, зиму перенес жесточайшую цингу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала, – какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса подъехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочной-лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

– Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:



– Мужика всякий обижает...

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

– Войдет в хату, – сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная бочонками вина, узлами. Вокруг нее гарцевали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

– Какие вы близорукие, обыватели российские! – обратился он к Кате. Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот такие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

– Вот, и при вас шныряют, а вы смиреннько смотрите.

– Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

– Он не только про махновцев говорил. Сказал – всякий мужика обижает.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:

– Ка-кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

– Загнал с пьяных глаз, мерзавец! – с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:

– Смотрите, что он делает!

– Тпруэ!

Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

– Ваши документы!

На груди его был большой черно-красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие до-

кументы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

– По-ли-ти-чес-кий комис-сар... – Он уставился на Леонида. – Советчик? Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

– Почему?

– Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

– А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

– Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «Бей жидов, спасай Россию!». Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям... – Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: – Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

– Я тебе показал документ, знаешь, кто я, – чего еще спрашиваешь!

– Молчи!.. – Он замахнулся на Леонида нагайкой. – Кто ты?

Леонид пожал плечами.

– Кто! Ну, коммунист.

– Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

– Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не ев-

рей!

Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.

– Хе-хе!.. Верно!.. А ты, – он уставил на нее палец, – ты жидовка!

– Вот так так! Я двоюродная сестра его!

– Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне. – И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно-оскорбительные догадки.

Потом он сказал:

– Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

– Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

– Отойдет. Поворачивай!

– Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь?

Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

– Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.

– Слезай!

Греки слезли.

– Кто такие?

– Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

– Вина не везете?

– Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

– Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

– За кого такое?

– Вот за этих. – Он указал на пассажиров.

– Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, – почему я знаю.

– Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, – на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

– Вон конь мой лежит. Подъезжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

– У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шепотом спросила:

– Неужели у тебя нет револьвера?

– Ч-черт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, раз-

миная ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.

Горелов, сторбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиной к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

– Ты... – зловеще протянул махновец. – Поди-ка сюда, жидовская харя! И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: «Товарищи, вяжите его!» – и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнали по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, – ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какую-то властною, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, – на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов, – и всею грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающи-

ми частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валявшуюся на земле винтовку с оборванной перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, – не поддается.

– Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, – она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать плотную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиной, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

– Бросай! – задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как буд-

то ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.

– А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

– Смотри!

Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

– Махновцы! Удирать! – хрипло сказал Леонид. – Погоди!

Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

– Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще подьдут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

– Бежим! – коротко бросил Леонид.



Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

– Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

– Ну, только бы по ней взобраться, – тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катька!

– Дурак ты, Леонидка! – отозвалась Катя, – так чуждо соваля его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый

огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился наземь.

Леонид сердито крикнул:

– Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.

Леонид спросил шепотом:

– Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

– Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

– Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.

– Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животно-оскаленные желтые зубы – Горелова? или лошади с прикушенным языком? Но сразу же потом радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники... И такой позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинута на грудь. По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекатывался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.

– Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.

– Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на луку седла... А с тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

– Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

– Приблизительно знаю. Это – ущелье Гуяр-Бах, тут перевал должен быть около Кара-Агача... Пройдем.

Катя быстро встала.

– Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по-особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.

– Спасибо тебе, Катюшка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким, – когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья, – исхудалый, нервный, – и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

– Если бы вы были другие! – вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

– Не можем мы быть другими.

– Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос... Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам идти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.

– Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали... Или уже нельзя будет жить.

– Говори так, Ленька! Говори так! Не переходи на всегдашний тон. Господи, какой он тяжелый! Как будто все время в маске человек!

– Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиваться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали, – и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это же взрыв был, – взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад, – но и огонь очищающий, и лава поли-

лась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?

– А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

– Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад, – так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженной любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках, – и разговаривай с ними серьезно!

– Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.

– погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

– Ну! Только что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

– Тихо. Уехали... Ночь-то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.

– Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через пе-

ревал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взлохмаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять-шесть назад смирный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?

Леонид заговорил:

– Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция – две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки, – ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя, – просто за самих себя, – полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учитываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что

рабочие, крестьяне угнетены, страдают, – и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, человечеству сказать, все – люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старою меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

– Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие, – само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь, – хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

– Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это



для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы ни употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение. Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно опустила голову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал: – Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара-Агача, в лунном ту-

мане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом, – какие-то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно-большого храма. Опять стало просто.

Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по-прежнему хорошо:

– Помнишь, утром, на площади у вас в Атматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в красную армию? Неужели же, ты думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отрядец из рабочих, – горящие, серьезные, дисциплинированные?.. И вот, – что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас – люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их сорганизовать. И, конечно, приходится совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего оружейного выстрела, чтобы, упаси боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было

совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

– погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

– Ну! Ну! – жадно сказала она. – Дальше!

– Ну, вот... – Леонид шел, качая в руке винтовку. – В банкирском особняке, где я сейчас живу, попалось мне недавно «Преступление и наказание» Достоевского. Полкники солдаты повыдрали на сигарки... Стал я читать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя вздрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

– Ну! Как ты говоришь...

– Как говорю... Да, мы с тобой убили. – Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

– Ну, да.

– А, может быть, его не стоило убивать.

– Мне тоже думается.

– Что он за револьвер взялся на Горелова, – так можно

было разговорить. С пьяным русским человеком это легко, только шуточка вовремя. Не то, что с латышом, например, – эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: «Права ты была? Не права?»... А я... Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гнилье рушится, что все, о чем вы говорите: «поосторожнее, да не сразу!» – все летит к черту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается. Придавленные чувствуют, что все они – одна огромная, братская стихия, что нет никаких разъединяющих Христовов, Будд, Аллахов, нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный объединитель – Труд... И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить. «Поосторожнее, да помирнее, да чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще»... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда все в том, чтобы дружно вскочили все сразу.

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилие сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение

ние не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под лунной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

– Вот это поселок ваш?

– Да.

– Выбрались. – Леонид опять взял Катю под руку. – Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия – что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется – не хватит сил все это выдерживать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаиновиков. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задыхалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

– Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!» Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгинете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости, – и тогда сиянием

вас окружит история, и вы яркою, призывною звездой будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобию, – всё простят! И даже ничему не захотят верить... Где же, где же справедливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.

Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую, закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые свои очки, – в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.

Катя оделась.

– Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.

Анна Ивановна радостно всплеснула руками.

– Да что ты?

Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек. Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:

– Что же, в чрезвычайке служит?

– Ах, оставь ты, папа! – раздраженно отозвалась Катя.

Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно рас-

спрашивала про Веру.

Иван Ильич сказал:

– Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?

– Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить... Видеть ее ты, конечно, не желаешь?

– Откровенно говорю: не желал бы.

– Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедем в город, ты с ней там увидишься.

Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.

Катя с удивлением спросила:

– А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?

Анна Ивановна измученно вздохнула.

– Там солдаты-пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колят на щепки балясины от террасы, рубят столбы проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.

Катя вскипела.

– Так нужно начальнику их заявить!

– Он говорит: представьте с поличным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!

Скудный был ужин. Очень скудный, – маисовая каша без масла. Хлеба не было.

Анна Ивановна сообщала местные новости.

Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов, представь себе, Агапов! – стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила – Гребенкин. Свиристует всюю. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот тебе и подслужился Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.

Ивана Ильича новый ревкома, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.

– И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Таскают то и дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему, – сам ни за что не



придет. Сытые, отъевшиеся, – и даже не спросят себя; чем же мы-то живем? А у самих всегда – и сало на столе, и катык, и барашек жареный.

Иван Ильич примирительно сказал:

– Ну, все-таки... Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.

– Первый, кажется, случай. Да! Раз еще как-то фунт брызги дали... На днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: «Эксплуататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!» И вдруг потребовал, чтобы Иван Ильич записался в коммунисты. «Отчего, – говорит, – не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам»... Сам в новеньком пиджаке и брюках, – реквизирировал у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.

Пришел инженер Заброта, бухгалтер деревенского кооператива, – длинный, с большим кадыком на чахоточной шее. Увидел Катю, нахмурился. Поколебавшись, неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.

Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сиплым голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряжений! Им хорошо, у самих всего в избытке.

Спешить некуда!

Водянисто-голубые глаза его светились суровой ненавистью.

– Я не могу понять, – что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?

Катя возразила:

– Не знаю. Что-то неуловимое, мне непонятное, – но другое что-то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А помимо их – либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо деникинщина, возвращение к старому.

– А теперь уже не воротились к старому? Все, как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним становые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными... То же рабство, та же тупая реакция.

– Нет! Все-таки тут революция, самая настоящая. А не реакция.

Заброда пренебрежительно оглядел ее.

– Смертные казни, подавление самодеятельности, удушение печати... Вот так революция!

И отвернулся.

Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно-синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масляного продналога.

Он – с ввалившимися, неподвижными глазами. У нее, вместо золотистого ореола волос, – слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

– Екатерина Ивановна! Объясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенной крупой, не варя ее.

– По-моему, можно. Я просто крупую кормила.

– Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!

Катя пошла на деревню отыскать Капралова, и еще – купить чего-нибудь съестного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, адели кровавые туши. Встретилась ей Уляша. Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:

– Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колот?

– Нет, праздника нету. А только... Слышно, по одной сви-

ные позволят держать каждому, остальных будут отбирать.

– Так вы всех лишних спешите зарезать!

– Ну да!

– Это к лету-то! Кто же летом свиней колет? – Катя засмеялась. – Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?

Уляша застенчиво улыbnулась и взглянула в сторону.

– Нет. Что же это делают! Кому охота работать, если все отбирают. Цену объявляют пустяковую, «по твердой цене», и все верно лишнее отдай им. Вино забрали, уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Люди все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.

– Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.

– Вещи – что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили... Только и ждем, что авось прогонят их.

Катя хохотала.

– Нет, продажного ничего нету.

– Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала, – ведь вот, вы свинью колете.

– А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам. Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы – посмотрите. Хе-хе-хе!

– Вот так – шоссе идет, а так, на горке, хата стоит. В отдельности от хуторков. И все люди, что в хате жили, от тихва перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит, – огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит. Постучался, не отвечают. На двери замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил, – уж не могу сказать. Поел. Спрашивает: «Кто это там на горке живет?» – Никого нету, пустая хата. – «Как так пустая? Там огонь горел».

Стали мужики вспоминать, – верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался. Думали, – не зеленые ли по ночам собираются?

Только полночь пробил, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один, – борода длинная, как полагается: саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают, – вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продолжении. Один говорит: «Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить». А другой ему: «Подожди, потерпи еще немножко. Может, переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет».

Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не

поворачивая: «Михаил, вылезай!»

А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает, – не к нему. А старичок опять: «Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке».

Нечего делать, вылез.

– Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.

И врос он в землю по пояс.

Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапывали, думали, – не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму.

Под ярким солнцем над бывшей кофейнею Авраими развевался новенький красный флаг и желтела вывеска! «Рабоче-крестьянский клуб». В раскрытые окна несся громкий голос оратора.

Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Авраими. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке. Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов, не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.

– Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, инструменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготавливать вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы – им, они – вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам...

Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как будто вколачивал гвозди.

– Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: отдел народного хозяйства, отдел социального обеспечения, – просто сказать; собес, – отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по-социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: а да бе, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль спускать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать. И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал-предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрягивать его в ямы, чтобы голодом взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие элементы, которые за контрреволюцию, то железная рука пролетариата за-

ставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы не закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!

Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.

Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади объедали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на запыленном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было. – его перевезли в клуб. Агапов с семьей ютился в гостинице Бубликова.

В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.

– Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?

Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.

– Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихватчу вас.

Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.

– Вина? Не могу товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.

– Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.



– Что за записка! Даже без печати... Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.

– Да много ли мы просим? Дайте ведра два, и ладно!

– Не могу, – понимаете?

Солдат в фуражке артиллериста сказал:

– Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.

Они ушли, угрожающе ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.

– Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погребца и увезли, понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!

Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.

– А я как раз вас ищу.

Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.

– Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.

– Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать.

Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:

– Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись безграмотным.

Гребенкин усмехнулся.

– «Пригласи-ить»? Ишь, какие нежности! Мобилизуем.

Вот, две девицы агаповские без дела шлятся. Их пошлем.

Катя удивилась.

– Зачем же насильно заставлять? Наверно, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.

– Спрашивать их еще, – «желаете ли?» Го-го!

– Двух мало, – заметил Капралов. – Запасную еще наметь, – может, какая больна окажется.

– Больна-а? – Гребенкии грозно нахмурил брови. – Нам тогда скажи. Мигом вылечим.

Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт-митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.

– Да будет тебе! Вот человек! – возмутился Гребенкин. – «Просил», «согласилась»... Обязана идти без разговоров! Не те времена.

Катя вскипела.

– Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти изымательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как урядники в старые времена. Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.

В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная усмешка. Ханов лениво сказал:

– Он озорничает. Что вы его слушаете.

– Ничего не озорничаю. «На всю Россию»... Сколько лет

тут живет, почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйста! Вон какую себе дачу выстроила... Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!

И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.

Тихонько вошел Агапов, – осунувшейся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:

– У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.

– Нет, я к тому... Жарко-с! – Агапов обратился к Ханову. – Получил я повестку от ревкома, – завтра идти в лес дрова рубить.

Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:

– Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?

– Помилуйте, мои годы не те!

– Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет, – до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним – отчего же вас нельзя?

– Я понимаю, я не о том... Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности... Да сердце-то у меня, изволите видеть, больное.

– Сердце у вас от жиру больное. Моцион вам очень даже будет полезен.

– Я вам представлю свидетельство врача.

Ханов сказал:

– Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.

– Ерунда! – отрезал Гребенкин. – Знаем мы эти свидетельства! Всякую чухотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра, – в подвал вас отправлю.

Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла. Висели на стенах чудесные снимки Беклина, в полированных рамах из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин, заведовавший нарядом подвод. Агапов помялся и вышел.

Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.

– Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.

– Не обойдется, – подтвердил Гребенкин. – Хлеба у всех, сколько угодно. Позакопали в землю и приbedняются.

Ханов примирительно возразил:

– Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.

– Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.

– Ах, оставь ты, Сашка!

Катя обратилась к Капралову:

– Пойдемте?

Они вышли. Совсем другой был Капралов, – никогда его

Катя таким не видала: светлый, сосредоточенный.

– Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый.

Пить вы бросили, что ли?

– Бросил. Не до того.

Пошли в библиотеку, – в ней помещался отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотечарша Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.

– Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал, – хороша вышла будочка!

И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его просто-народные выражения.

Он спросил:

– Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?

– Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.

– А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.

– Вот уж вы какой большевик стали, Капралов. А не противно вам это?

– Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах,

да на этажерках. Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна «Нива» да «Вокруг света».

– Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?

– Ну, когда другие времена будут... А сейчас нужно отобрать. Что ж народу читать?

В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Густо валила публика, – деревенские, больше молодежь, пограничники-солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распоряжался. Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство, – Ханов, Гребенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы, вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.

Не хватало мест. Толпа заполнила проходы. Лущили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками чопорные и разодетые курортные гости.

Третий звонок. Сопrotивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине. В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерскою будкою, горела яркая лампа-молния. На эстраду вышел давешний оратор.

– Товарищи! Рабоче-крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся... Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилась власть советов, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями-капиталистами...

Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко освещенным подбородком и затененным лбом, выглядело необычно, по-концертному.

Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.

Местная молодежь слушала жадно, вытянув головы. Привычные красноармейцы равнодушно глазели по сторонам и ждали того интересного, что будет дальше.

Оратор кончил возгласами в честь всемирной пролетарской революции, советской власти и ее вождей. Красноармейцы затаили:

Вставай, проклятьем заклеяменный,  
Весь мир голодных и рабов!

Зрители нестройно подхватили. Оратор оглядел зал грозными глазами и зычно крикнул:

– Встать!! Шапки долой!!

Катя возмущенно проговорила:

– Господи, что это! Совсем, как в прежние времена с «Боже, царя храни»!

– Вы что же, Манечка, не встаете? Слышите: «вставай, проклятьем заклейменный».

– Мы не клейменные.

– Как это так, не клейменные? В песнях всегда правильно говорится. Вы проклятьем заклейменная.

– Ничего подобного!

Потом Ханов говорил, сбиваясь, трудно находя слова, но с горячим одушевлением. А потом выступил Капралов и спокойно, не волнуясь, стал говорить простым, беседующим тоном:

– ...Вы подумайте, товарищи. Без умственности мы далеко не уйдем. Вот ты на косилке выехал ячмень косить, говоришь: «Мы работаем, а они что делают? Только книжки читают!» Ну-ка, а погляди на косилку свою: ты, что ли, ее выдумал? Хватит у тебя на это мозгов твоих? В нее, брат, мозгу-то этого самого вон сколько положено! Не нашего с тобою мозгу. Вот ты это и помни. И спасибо тому скажи, кто такую умственную штуку выдумал. А не то, чтобы над книжками смеяться. Сам за книжку возмись, не гляди, что борода у тебя снегом запорошена. Иди к нам в школу грамоты, учись, иди в библиотеку к нам, книжки читай. Только тогда мы силу возьмем, когда станем умные. Правильно сказали великие



писатели Шекспир и Михайлов-Шеллер, что сила народа – в его просвещении...

Для чего-то задернули занавес и опять отдернули.

На эстраду вышла княгиня Андожская со свертком нот, за нею – Майя. Майя села за рояль, а княгиня выступила на авансцену. И у нее тоже лицо от освещения снизу было особенное, концертное.

Конкордия Дмитриевна шепнула Кате:

– Славный этот Капралов наш. Выхлопотал у ревкома для всех исполнителей по десять фунтов муки и по фунту сахару, Гребенкин противился, хотел даром заставить, но Капралов с Хановым настояли. И вы знаете, Бубликов недавно хотел выгнать княгиню из своей гостиницы за то, что денег не платит за номер. Дурень какой, – в нынешнее-то время! Ханов посадил его за это на два дня в подвал. Успокоился.

Княгиня, бледная от волнения и, – Кате показалось, – от унижения, суровыми глазами смотрела поверх толпы. Тихо, понемногу нарастая, зарокотали аккорды. Княгиня запела:

Бурный поток, чаща лесов,  
Голые скалы – мой приют...

Она спела. Господи, что началось! Как будто с грохотом посыпалась с потолка штукатурка, – такие крепкие затрещали рукоплескания. Бешено кричали: «Браво! Браво! Бис!» И когда она вышла раскланяться, – опять: «Браво! Ан-

дожская!» И красноармеец какой-то упоенно крикнул: «ура!!!»

Княгиня сдержанно кланялась, и слабая улыбка появилась на губах, и в прекрасных глазах блеснула удивленная радость.

Она опять запела. И еще несколько песен спела. Буйный восторг, несшийся от толпы, как на волне, поднял ее высоко вверх. Глаза вдохновенно горели, голос окреп. Он наполнил всю залу, и бился о стены, и – могучий, радостный, – как будто пытался их растолкнуть.

Зал ревел и гремел. Катя бросилась за кулисы. Княгиня, с новым лицом, сидела в плетеном кресле. Восхищенный Капралов топтался вокруг. Гуриенко-Домашевская говорила:

– Прелестно, княгиня, восхитительно! Никогда вы так не пели!

Катя, задыхаясь от радости и душивших ее слез, горячо жала обеими руками руку княгини.

– Скажите! Ну, скажите мне! Разве такое что-нибудь вы испытывали прежде, когда пели в ваших салонах, когда это у вас было от безделья? Какую вы целину затронули! Разве вы не чувствуете, что вы сейчас делали огромное дело, что никогда они вам этого не забудут?

Зал шумел. Княгиня остановившимися, прислушивающимися к себе глазами глядела на Катю.

– Никогда, никогда вы этого и сами не забудете! Правда? Княгиня повела головою и коротко, с неулыбающимися

глазами, вдруг сказала:

– Позвольте вас поцеловать.

И крепко поцеловала Катю.

Вечер прошел великолепно. Капралов торжествовал и ходил именинником. Декламировали из Некрасова, Бальмонта; пела Ася, княгиня спела с нею дуэт из «Пиковой Дамы». И еще даже больше, чем Андожская, зал захватила Гуриенко-Домашевская за роялем.

– Друзья мои! – обращалась она к зрителям, чтобы не говорить слова «товарищи». С тепло светящимися, восторженными глазами, подробно объясняла содержание каждой пьесы, которую собиралась играть, и потом играла.

Труднее всего увлечь простую публику игрою на рояле, но огромный талант Домашевской одолел трудность.

В заключение она, вместе с Майей, сыграла в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Душу зрителей, незаметно для них, стали изнутри окатывать светлые воздушно легкие волны, и скоро огромный, сверкающий океан бурно заплескался по залу, взметываясь вверх, спадая и опять вздымаясь, и качая на себе зачарованные души. Катя видела полуоткрытые рты, слышала тишину без сморканий и кашля. И казалось ей, – это плещется древний, древний, первобытный океан, когда души не были еще так отгорожены друг от друга, а легко сливались в одну общую, радостно-подвижную душу.

Выехали из Арматлука рано утром, когда алое солнце

только-только выглянуло из-за моря и уставший за ночь месяц, побледнев, уходил за горы в лиловую мглу. В тихом воздухе стояла сухая, безросная прохлада, и пахло сеном.

Ехали на линейке Афанасий Ханов, вчерашний оратор Желтов и Катя с матерью. Вез их болгарин Петр Гаштов.

Желтов, добродушно улыбаясь, говорил:

– Да, кряжистые мужички у вас! Никакой их пропагандой не прошибешь. Придется нам тут поработать. Вот Гребенкин у вас в ревкоме парень, видно, дельный. Его возьмем в помощь.

Катя сказала:

– Я не совсем понимаю. Вы весь хлеб отбираете у мужиков?

– Ну, да. Не весь, а называется – хлебные излишки.

– Платите вы им?

– Конечно, платим. По твердым ценам.

– По твердым! Да что ж там, пустяки! Семьдесят рублей за пуд пшеницы, а она сейчас две с половиной, три тысячи стоит.

Желтов настороженно оглядел Катю и резко спросил:

– А вы хотите, чтобы мы по спекулятивным ценам платили? Чтобы кулаки наживались на рабочем голоде?

Катя кротко возразила:

– Вовсе я ничего не хочу, я вас только спрашиваю. И мне интересно вот что: получит он от вас семьдесят рублей за пуд, – что же он за эти деньги купит? Катушка ниток стоит

сорок рублей. Не хватит и на две катушки.

Гаштов с козел отозвался:

– Теперь за катушку уж пятьдесят пять просят.

– Ну, да, это конечно... Правильнее было бы товарообмен.

А только что ж делать, если нет товару! Рабочие в городах без хлеба сидят, – какая же может быть работа? И сейчас нам не до катушек, приходится для фронта работать, империалисты напирают со всех сторон. Неужели не ясно? Такое время, всем нужно терпеть. Не до наживы. Приходится силком отбирать, если не хотят отдавать добром.

– Да, видела я год назад, как сюда ехала! Мужик из Новгородской губернии. Продал последнюю коровенку, купил в Сызрани два мешка муки, а в Туле продовольственный отряд все у него отобрал. «С чем, – говорит, – я теперь домой поеду?» И тут же, у всех на глазах, бросился под поезд. Худой, изголодавшийся... Господи, что было! – взволнованно воскликнула Катя.

Гаштов, повернув лицо от козел, жадно слушал. У Ханова глаза стали растерянные. Анна Ивановна испуганно дергала Катю за рукав.

– Таких мы жалеем. А монополии хлебной никак нельзя отменить. Сейчас спекулянтство пойдет. Вы поймите: революция! Неужели не ясно? Как в осажденной крепости! – Желтов начинал сердиться. – Вы тех вините, кто антанту призвал, Деникиных и Колчаков вините, да! Рябушинских. Они хотят костлявой рукой голода задушить революцию, а

социал-предатели им подпевают и мужиков против нас восстанавливают... А кто им землю отдал? Ну-ка, товарищ, скажи, – землю вам Деникин отдал или нет?

– Землю-то, это, действительно...

– Вот видишь! Землю вы себе сохранить желаете, а кто вам ее отдал? Рабочий! А как о том, чтоб его поддержать, – наше дело сторона! Вот почему название вам – кулаки!

Ханов оживился и сказал:

– Понимаешь ты теперь, Петро? Я же вам всегда то самое говорю. Что нужно на общую пользу думать, а не только что для себя.

Гаштов молчал и бережно похлестывал лошадей.

Желтов продолжал:

– Мужиков мы жалеем. Временем приходится их прижать, да душою мы за них. А вот социал-предатели эти, наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут, – эту всю сволочь надобно уничтожить без разговору. Таким – колено на грудь и нож в живот!

– Вот в том-то и слабость ваша...

– Чтоб не смущали народ! Без всяких разговоров, – в город! Пожалуйте в Особый Отдел!

Было ясно, что он это о ней. У Кати на душе стало дерзко-весело и спокойно-спокойно.

– В этом и слабость ваша. Вместо того, чтоб убеждать, – колено на грудь и нож в живот. Двое вас тут мужчин против меня одной, – а какие у вас доводы? Нож в живот, пожалуйста

в Особый Отдел!

Желтов поспешно сказал:

– Я не о вас.

– Как же не обо мне? Конечно, обо мне. Да и все равно, про кого бы ни было. Вот я вчера слушала вас в клубе. Вы думаете, вы убедили мужиков? Конечно, нет. А почему? Они слушали и молчали. Попробуй вам кто возразить, вы бы сейчас: «Кулацкий элемент! Контрреволюционер! Колено на грудь! В Особый Отдел!» Они и молчат, и все ваши слова сыпятся мимо.

– Детские слова говорите! Миролюбие какое-то! Толкуют же вам, революция! Неужели не ясно? Никакого миролюбия!

– Я и не говорю про миролюбие. Боритесь. Пусть враги боятся вас, пусть ненавидят. Но чтоб уважали вас, чтоб чувствовали, насколько вы выше их.

– А разве это не уважительная картина? Вот, приехал я к ним позавчера: на берегу у моря дом, на доме красный флаг, а в доме всю ночь при огоньке работают два коммуниста, – он вот, и Гребенкин. А кругом все злобятся, ненавистничают, камень щупают за пазухой. Или как красная армия наша кровь проливает на фронте...

– Неужели же это теперь кого-нибудь убедит? Будет вам, товарищ! Кровь свою и белые проливают. И средневековые рыцари-разбойники были очень храбры, и всякий бандит храбр.

Анна Ивановна в отчаянии наставила на Катю круглые

свои очки и еще раз дернула ее за рукав. Желтов спросил:

– Чего же вам надо?

– Вот чего. Когда ввели в Петербурге классовый паек, то рабочие Балтийского судостроительного завода отказались получать увеличенный паек, они вынесли резолюцию: когда все кругом одинаково гибнут от голода, стыдно одним получать больше, чем другие. Вот это истинный героизм, истинное благородство! Таким людям я поверю, что они борются за правду и справедливость. Но это один-единственный раз было, только один! А вообще, что кругом делается! Раньше одна была белая кость, – дворянин, теперь другая стала, – рабочий.

Вдруг Ханов взволнованно соскочил с линейки и пошел рядом с нею.

– Не хочу с вами ехать, не хочу вас слушать! Вы, может быть, не контрреволюционерка, но вы опаснее самых вредных агитаторов! Я во всем согласен с товарищем. Таким нужно колено на грудь!

– И нож в живот, Ханов?

– Оставьте меня, я не хочу с вами разговаривать!

Он быстро пошел в гору, обгоняя медленно тащившуюся линейку.

Когда он на перевале сел обратно в линейку, Желтов и Катя беседовали дружелюбно и мирно. Желтов раздумчиво говорил:

– А все-таки таких, как вы, нужно бы... Уж не знаю, что



бы... Расстрелять не за что, а вред большой... У вас образование, нам трудно с вами. Дай вот, образование отнимем у вас, себе возьмем, – тогда вы против меня ничего не сможете сказать, как теперь я против вас.

Вера прибежала со службы повидаться с матерью. Без слов обе бросились друг другу в объятия, целовались, глядели друг на друга и опять целовались. Вера сказала:

– Мамочка! Постарела ты как!

Обнялись, и вдруг горько заплакали. Сидели и плакали.

– Ну, а ты как? – Анна Ивановна утирала глаза и жадно разглядывала Веру. – Бледная, худая... Ведь вам теперь хорошо живется, коммунистам. А ты еще хуже стала.

Вера осторожно расспрашивала про отца. Анна Ивановна опасливо покосилась на открытое окно.

– Ты ведь знаешь, – он бежал из России от чрезвычайки. Как ты скажешь, – не арестуют его ваши за побег?

– Тут же никто про это не знает.

– Но объясни ты мне, Верочка, – за что? Неужели человек не имеет права действовать по совести, говорить то, что думает? Ведь вы говорите, теперь социализм...

У Веры глаза стали непроглядными, она прикусила губу.

– Мамочка, время такое. Потом, конечно, все это отменят.

Она убежала к себе на службу, – шла какая-то конференция.

Вечером все вместе сидели за самоваром, ужинали. Раз-

говаривали особенными, домашними словами, вспоминали милые мелочи прошлого, смеялись.

Анна Ивановна сказала:

– А ты все такая же. И не подумает никто, что большевичка.

Родной разговор, и поющий самовар, и мама в круглых очках, покрывающая чайник полотенцем. И теплый ветерок в окна. И странно было Кате: все такое милое, всегдашнее, а они – такие разные, разделенные; папа далеко, с непрощающими глазами, и непроглядные глаза у Веры, смотрящие в сторону.

Анна Ивановна пересмотрела белье Веры и ахнула: пара заплатанных рубашек, дырявые полотенца.

– А говорят, у вас, большевиков, ни в чем нет недостатка!

Села чинить.

Ночью у Кати сильно заболела голова, и грустный трепет побежал по телу. К утру она лежала в жару, в простреленной руке была саднящая боль, вокруг ранки – ощущение странного напряжения.

Вера устроила Анне Ивановне обратный проезд Катя хотела встать, чтоб проводить ее, но Вера не позволила, и Катя осталась в постели.

К вечеру температура была сорок. В полусознании Катя слышала голос Веры и еще чей-то другой женский голос, незнакомый.

Видела незнакомое лицо с чудесными глазами, лучивши-

мися, как два прожектора. И ласково-твердый голос говорил:  
– Повернитесь, Катерина Ивановна... Вот так, довольно.  
И мягкие белые руки мазали больную ее руку коричневою  
мазью и ловко бинтовали ее.

Утром Катя с удивлением спросила Веру:

– Что это, сон был? Мне казалось вчера, – кто-то нежный  
и ласковый ухаживал за мною и глаза как вечерние звезды.

– Нет, правда. Это Надежда Александровна Корсакова,  
врач.

– Что за Корсакова?

– Жена нового председателя ревкома... Катюшка, а толь-  
ко как же ты мне не сказала, что ты ранена! Только сегодня  
Леонид приехал из Эски-Керыма и рассказал про твои по-  
двиги. Милая моя девочка! Какая же ты молодец!

Катя покраснела и засмеялась.

– А что у меня такое?

– Рожа вокруг раны.

Катя прохворала дней шесть. Заходил проведывать про-  
фессор Дмитревский с женой, однажды заехал Леонид. Каж-  
дый день приходила Корсакова. И приход ее вносил в душу  
свет и тишину. Она была высокая, плотная и некрасивая.  
Но глаза, когда загорались чудесным своим светом, вдруг  
освещали все лицо и делали его прекрасным. И мил был ее  
неожиданный, вдруг вырывавшийся из глубины груди смех.  
Катя, видимо, очень ей понравилась. Надежда Александров-

на несколько раз вспоминала про ее схватку с махновцем и шутила, что следовало бы ей дать орден Красного Знамени.

– А случай этот, с махновцем, – сообщила Надежда Александровна, – внес большую смуту в отношения, и без того напряженные. Махновцы рассказывают, что советские жида-комиссары поймали на дороге их товарища и зверски замучили: разбили прикладом кисть руки, прострелили живот, колено, и в конце концов убили выстрелом в рот; улика налицо – на дороге остался труп одного жида-комиссара, которого, защищаясь, убил махновец. Теперь они держатся еще более вызывающе, открыто ведут агитацию против евреев и советской власти, а войск в городе мало, и они это знают.

Катя сказала:

– Вот самые страшные для вас враги! Какие против них лозунги могут выдвинуть большевики? Грабь все, что увидишь, измывайся над буржуями, – это и их лозунги. А они еще говорят, что не нужно у мужиков отбирать хлеб, и что следует избивать жидов. С этим согласится и всякий ваш красноармеец.

Надежда Александровна переглянулась с Верой и засмеялась изнутри вырвавшимся смехом.

– Екатерина Ивановна, какой вздор! Ну, где вы видели таких красноармейцев? Вы повторяете эти скверные интеллигентские сплетни... Как не надоест! Видели бы вы их в деле! Я много работала на фронте, в госпиталях, на перевязочных пунктах. Какое горение души, какой настоящий революци-

онный пыл!

Ее глаза засветились умилением и восторгом.

– Ведь это все больше рабочие, добровольно пошедшие на лишения, на увечье и смерть. Голодные, разутые, раздетые, – как львы, дерутся целыми неделями. А у вас представление, – шайки разбойников, идущих набивать себе карманы. Эх, Екатерина Ивановна!..

В сумерках в город вступили два пехотных полка с тайным назначением.

Поздно ночью в саду у себя, в виноградной беседке, сидел, покашливая, старик Мириманов, и с ним – военный с офицерской выправкой, с пятиконечной звездой на околыше фуражки. Шептались, оглядываясь. Старик Мириманов рассказывал о своих злключениях, а военный слушал, мрачно горя глазами.

Старик сказал:

– Ну, я рад, что ты жив-здоров. Тому, что ты на их сторону перешел, я никогда не верил... Дай тебе бог!

Он с умилением перекрестил сына, всхлипнул и крепко его поцеловал. Украдкой подошла Любовь Алексеевна, села рядом на скамейку. Военный спросил:

– А Боря где?

– На службе у них. В военном комиссариате, что-то делает в регистрационном отделе.

– Почему не ушел с нашими?

Старик презрительно махнул рукой. Любовь Алексеевна оправдывающе стала объяснять:

– Ведь ему по болезни дана была отсрочка на год. Он надеялся, что и красные его не возьмут.

Военный сурово слушал, ударяя стеклом по голенищу сапога.

– «Трусоват был Ваня бедный»...

– Впрочем, кой-какие сведения иногда нам дает. Только очень боится.

Товарищ Седой с нетерпением говорил:

– Это, наконец, скучно! Командир бригады – форменный остолоп; единственное достоинство, – что коммунист; а при отсутствии других достоинств это – недостаток. Обезоружить и сплавить махновцев удалось только благодаря тактичности и находчивости Храброва. С огромной инициативой, бешено храбр. Недаром солдаты прозвали его «Храбров». И командующий фронтом тоже настаивает, чтоб отдать бригаду Храброву.

Крогер упрямо повторил:

– Он нас предаст.

– Данные?

– Если бы были данные, я бы его прямо расстрелял.

Леонид смеялся.

– У нас с вами – сказка про белого бычка!.. На то вы и политком, наблюдайте за ним.

– Я наблюдаю.

В воскресенье вечером Катя пошла с Верой к Корсаковым. Надежда Александровна встретила ее с ярко засветившимися прожекторами глаз и крепко расцеловала. Мужу своему она сказала:

– Вот, Михаил! Девушка, про которую я тебе рассказывала: голыми руками одолела вооруженного до зубов махновца. Достояна ордена Красного Знамени.

– Слышал, слышал... Мы ее назначим начальницей партизанского отряда. В тыл Деникину отправим, на Кубань... Юрка, хочешь к этой девушке в партизанский отряд поступить?

Мальчик, лениво жевавший ветчину, оглядел Катю и скептически протянул:

– Ну-у...

– Не годится?

Надежда Александровна засмеялась.

– Партизаны на машинах не ездят. А ему бы только на автомобиле кататься, – один интерес.

– Как это? Ты ведь коммунист, Юрка?

– Ну да.

– Так в порядке партийной дисциплины. Без разговоров.

– Ну-у!..

Звонок. Вкатился толстый человек.

– Товарищ Корсаков, на десять минут разговорцу!

Надежда Александровна возмутилась.

– Да что это, товарищ Климушкин! Ведь каждый день видите в ревкоме. Дайте человеку хоть в воскресенье поужинать спокойно.

– Ну, ну... Ваше превосходительство, не сердчайте. Пять минут всего.

Был он с живыми, умно-смеющимися глазами, с равномерно, пухлою полнотою, какую полнеют люди, сразу прекратившие привычную физическую работу. Бритый, и только под носом рыжел маленький, смешной треугольничек волос. Катю покорило, что вошел он, не сняв фуражки.

Протянул руку Корсакову. Корсаков пожал, оглядел его и покачал головою.

– До чего его разносит! И чего ты такой толстый? Компрометируешь советскую власть. Как тебя на митинга выпустить?

– Чтой-то, брат, сам не пойму. Толстею не судом.

– Идите скорей, кончайте ваши дела.

– Ну, ну... В одну минуту!

Они ушли в кабинет. Поговорили. Климушкин ушел, не оставшись ужинать.

Надежда Александровна, смеясь, стала про него рассказывать. Бывший молотобоец, теперь комиссар юстиции. Работник удивительный. – Вот, действительно, толст неприлично, но даже и это у него как-то мило. Поразительная способность сразу схватить дело, сразу ориентироваться в нем и выдвигать



нуть самое важное. Это, я заметила, специально – пролетарская черта. Интеллигент возьмется: что? как? да почему? А он по намеку ловит. И инстинктом берет правильную пролетарскую линию. Спецы-юрисконсульты из сил выбиваются, чтоб оплести его буржуазною своей «законностью», а он ее рвет, как паутину, ни в чем не отклоняется от своего пути.

Корсаков лениво сказал:

– Сановничества много стало. Удивительно, как портит людей положение. С Джигитской улицы пять минут ему ходьбы до ревкома, – ни за что не пойдет пешком, обязательно вызывает машину. Уж ниже его достоинства. Нет каких-то устоев.

Надежда Александровна враждебно взглянула и спросила с насмешкою:

– Как у вас, интеллигентов?

– А ты не интеллигентка?.. Да, у идейных интеллигентов. Эти как-то прочнее, не так легко голова кружится. Отдельные люди там, пожалуй, крепче и цельнее. Но средний тип, в массах, – менее устойчивы, легче злоупотребляют властью. С просителями грубы и презрительны, с ревизуемым сядут ужинать, от самогончику не откажутся... Ну, да пройдет со временем. Закваска, все-таки, прочная.

– Вот буржуазная психология! А я как раз заметила наоборот; именно интеллигенты при первой же возможности возвращаются к своим прежним барским привычкам... Да вот, ты же первый. Постоянно – то тебе невкусно за столом,

того не хочется...

Корсаков зевнул и лег на короткий сундук около буфета, лицом кверху, ногами упираясь в пол.

– У старых работников это еще ничего, – школа есть, – сказал он. – А вот у новых, недавних, – черт их знает, на чем душу свою будут строить. Мы воспитание получали в тюрьмах, на каторге, под нагайками казаков. А теперешние? В реквизированных особняках, в автомобилях, в бесконтрольной власти над людьми...

Надежда Александровна вставила:

– В кровавых боях на фронтах...

– Да, в боях... Но нам не только защищаться, – ах, черт возьми, – нам нужно и созидать. Бои, это – пустяки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.

Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает, – не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач, ей приемлемее становились их стремления.

Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову – долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное. Бородка торчала кверху, рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп забороздил воздух.

Надежда Александровна тихонько засмеялась.

– Смотрите, спит!

Вера шепнула:

– Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.

– Нет, разбудим тогда.

Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и потрянул головою. Взглянул на часы.

– Пора ехать.

– Куда еще?

– Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.

И уехал. Надежда Александровна сказала:

– Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа три-четыре. А сердце больное... Ну, а ты, партизан, иди-ка спать! – обратилась она к сыну.

Вера спросила:

– На скрипке он теперь продолжает играть?

– Где там! Со времени революции и в руки не брал.

– А помнишь в ссылке, в Верхоленске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы трио составили, – Engellied<sup>4</sup>. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.

Покойной ночи, мама!

---

<sup>4</sup> Ангельская песня (нем). Имеется в виду «Серенада» Г. Браги.

Меня тот звук манит с собой...

Правда, ангельская песня! Как будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлюпал. И я, – так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны...

Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.

– Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такою красотою, все вдруг станут такие близкие.

– А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, пред его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каяться ему не в чем. Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:

Прости, господь, что бедных и голодных  
Я горячо, как братьев, полюбил!  
Прости, господь, что вечное добро  
Я не считал бессмысленною сказкой!..

Все замолчали. Вера из глубины души вдруг сказала:

– Как тогда было хорошо!

Надежда Александровна отозвалась:

– Хорошо!

Катя взволновано заглянула Вере в глаза.

– Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Луч-

ше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?

Вера виновато улыбнулась.

– Лучше.

Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.

– Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят, – просто повесят.

Катя спросила:

– А удалось Хутореву этому бежать?

Надежда Александровна ответила:

– Да...

И тяжелое легло молчание. Катя пытливно заглядывала в не смотрящие на нее глаза.

– Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?

– В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.

Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:

– Вот, вы видите с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди,

которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла камса. Улов небывалый, – а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки, – все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные инспектора, контролеры с воинскими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать, – не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен, – а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговой болтовней! Послушайте-ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.

Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бумаги.

– На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку, – как раз к современному положению. Послушайте: «Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно достигнут своею судьбою, именно потому, что глупцы об этом не думают». Только, – глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это – сознатель-

ная дезорганизаторская работа по чьей-то сторонней указке.

Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с воровато глядящими исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.

Катя смотрела.

– Зачем вы это?

Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.

– Наступит кто, – еще ногу себе напорет.

Так это по нынешнему времени показалось Кате необычным, – чтоб кто-нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере. Вера рассмеялась.

– Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?

– Да, да!

– Это Настасья Петровна наша.

Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел, Вера пошла к ней, уредила подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь

она стала восторженной коммунисткой, – кто бы, – говорит, стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.

– Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы, – сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурэ. Как будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с неба... Вот что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдём?

– Хочу, конечно.

– Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет. Но все-таки помотришь всех.

Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят. Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела, вдруг освещалась милою своею улыбкою.

Председательствовавшая Вера сказала:

– Ну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.

– Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.



– Вы и не делайте доклада. Просто расскажите товарищам, что там было. Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?

– Уж не знаю, право, как...

Одна старая работница увещевающе сказала:

– Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться?

Настасья Петровна покраснела, набралась духу.

– Ну, вот так. Говорил, что революция, – это все равно, как ребеночек. Сперва-наперво – так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить. Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?

– Ишь, хорошо как!

– Ведь верно, девушки!

Настасья Петровна воодушевилась.

– Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща. Все ведь нужно совсем по-новому устраивать, никогда еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?

Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.

– Бабье собрание?

Вера сказала:

– Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.

– Я что ж? Я только послушать.

– Нет, нет, ступайте.

– Уходи, Шабров, чего тебе тут?

Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:

– Потом, значит, объяснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие, – уж как им прозвание, позабыла, – «предатели», что ли? – они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.

Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.

– Уж вот хорошо ты, Настя, объяснила! Как на ладошке.

Вера, улыбаясь, сказала:

– Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.

Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:

– Я сейчас доклад делала.

Как кузнечики, стукали наперебой пишущие машинки. Тк-тк! Тк-тк-тк-тк! Дзинь! Трррр... Тк-тк-тк!

– Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.

– Да что вы? И давно пропал?

– Два месяца.

– Почему же вы думаете, что пропал?

– А писем не пишет.

Тк-тк! Тк-тк-тк!..

– Ну, а если вдруг вернется?

– Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.

Крутился вихрь, – какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности... Мелькали ключья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезображенных христов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные яти и еры, спутавшиеся числа календарных стилей.

Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки, скрепив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила коптилка. Люди во френчах и матросских бушлатах перетряхивали

тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.

Бритый человек с револьвером сказал:

– По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.

Иван Ильич ответил устало:

– И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.

В черной толпе вооруженных людей его повели через темный сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.

Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.

– По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.

Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:

– Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.

Вечером они пошли. Корсаков развод руками.

– Ну, что тут можно сделать! «Вы агитировали против смертной казни?» «Агитировал, и всегда буду агитировать».

Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.

– Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!

Корсаков сказал Кате:

– Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор. Время сейчас грозное.

В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые гроздья глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплялись на горячей сини неба.

Иван Ильич с суровыми глазами говорил:

– Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.

– Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.

– Катя! Меня спрашивают: «Вы против смертных казней, производимых советскою властью?» А я буду вилять, укло-

няться от ответа? Это ты называешь – не задирать!.. Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да, Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по нескольку человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию...

Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:

– Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.

– Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!

– Друзья, друзья! А что же хлеба не покупаете? Не забывайте! Вот хлеб свежий!

– Сколько-о? С ума сошел!..

Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.

Все равно, что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:

– Спички шведские...

– Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!

– Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь. Воротишься, – за эту цену не отдам.

Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросычьего визга странная, долгая трель:

– А-а-а-а...

– Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!

A-a-ah!.. E strano poter il viso suo veder!

Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar...

Di', sei tu? Marguerita! Di', sei tu?..<sup>5</sup>

Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно-стыдящимися глазами глядя поверх толпы. Видно, была красавица, чувствовался хороший когда-то голос и хорошая школа. И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Миримановых.

Катя съежилась, – не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.

В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на поселки и деревни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешеченные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало, снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.

---

<sup>5</sup> А-а-ах!.. Странно смотреть на себя! // Ах!.. Могу взглянуть на себя и любоваться собой... // Ты ли это? Маргарита! Ты ли это?.. (итал.) // – фрагмент арии Маргариты из оперы Ш. Гуно «Фауст».

Везде чувствовалась организованная, предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едой моет руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.

Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведовала отделом агитпропаганды). Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:

– Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится. Скоро приезжает Воронько.

Катя ахнула.

– Воронько?! Тот, знаменитый?

– Да.

– Г-господи, какой ужас!

Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.

– Почему ужас?

– Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!



Надежда Александровна веско и раздельно сказала:

– Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда-нибудь встречала... Вот белогвардейская оценка! – Она засмеялась и обратилась к Вере: – Ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: «Начальник Ч. К. Воронько, палач Украины». Если бы увидели его, – хорош палач!

Катя враждебно возразила:

– Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели... Ну, скажите мне: сама вы, – такая, какая вы есть, – пошли бы вы в чрезвычайку?

Надежда Александровна в изумлении глядела на Катю.

– Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.

– И вы не знаете, – скажите, что, правда, не знаете, – какие сладострастные убийцы-садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина... А был, наверно, хорошим рабочим.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

– Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только, – уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного, – никаких

данных против него. А чекист, потрясая руками: «они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата-рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось, – бывший жандармский офицер. Расстреляли.

Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:

– Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречу, я ему не подам руки!

На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.

С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.

Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая – пролетариат; это была божественно-лучезарная и божественно-безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вешего понимания жизни. Вторая – люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья – все остальное: злобно-хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить своею зловонною жижею светлое

пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательною ложью, саботажем и подкопом под революцию.

В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.

Катя говорила ей:

– Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел, – это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.

Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.

– Докажите!

И странно было: черные эти гвоздики, – неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?

– Надежда Александровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.

– Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.

А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он яс-

но видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чашу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.

Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похвальнось, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.

Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертельными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце концов, выплывут на широкую, светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов, – все это было естественно и неизбежно.

С Корсаковым у Надежды Александровны были постоян-

ные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:

– Нелепость очевидная: с нашей неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализированных машин, – ржавеют под дождем, расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры...

Надежда Александровна ядовито возражала:

– Значит, опять разрешить частную торговлю, возвратить фабрики хозяевам?

– Да, что-то тут нужно сделать... Рано или поздно придется ввести какие-то коррективы.

Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.

– И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!

Корсаков посмеивался.

– И даже расстреливать?

– Да, и расстреливать.

Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.

Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру-почтальону, прикладами сбили замок, добыли ви-

на и стали на горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику-греку катать их. Все восьмеро взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.

А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.

Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери, странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга, – испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было ненужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе – тупой ужас пред жизнью.

За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрасили кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.

Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю пере-

дохнуть от чудовищной работы, беззаботно попрезидничать.

Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.

Перед воеводой молча он стоит.  
Голову потупил, сумрачно глядит.  
С плеч могучих сняли бархатный кафтан,  
Кровь струится тихо из широких ран,  
Скован по рукам он, скован по ногам...

Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все пытки – за один торжествующий удар в душу победителя-врага.

А еще певал я в домике твоём;  
Запивал я песни все твоим вином;  
Заедал я чарку хозяйскою едой;  
Целовался сладко – да с твоей женой!!.

Где в своей душе берет он все, – этот дрянной человечишко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преображаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга, –

к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.

На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.

Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать-дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно, – самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.

Корсаков лениво сказал:

– Спойте: «В двенадцать часов по ночам встает император из гроба».

Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:

– Я этих нот не захватил.

Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четырехугольники окон.

– Пробка перегорела.

– Нет, во всем городе темнота.

– Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.

Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.

Искусственно-глубоким басом кто-то сказал:



– Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!  
Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.

Корсаков помолчал и спросил:

– «Путешествие русского за границу» – не слышали?

– Нет. Валяйте.

Прежний бас:

– Вонмем!

Корсаков стал рассказывать.

– Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, – бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: «Господин, вы что там? Слезайте!» – «Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!» – «У нас так нельзя, идите в вагон». – «Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В.Ч.К.» – «Да билет-то есть у вас?» – «Вот он, вот он, билет». – «Так идите в вагон». Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, – пулею в уборную и заперся. Стучатся. «Некуда, некуда, товарищ! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, – заперто. Пришел кондуктор. «Эй, мейн герр<sup>6</sup>! Вы там долго будете сидеть?» – «До Берлина!» – «До Берлина? Вот странная болезнь!»

Сидевший рядом с Катей господин прыснул от смеха.

---

<sup>6</sup> господин (от нем. mein Herr).

– Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим».

Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Тайнственно отзывает швейцара. – «Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заматают. Я вам за это заплачу двести марок». – «Да пожалуйста в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок». – «Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, и у меня нет ордера...»

После многих приключений в Берлине, обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали:

Р.С.Ф.С.Р.

(редкий случай феноменального сумасшествия расы)

Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кулонными лампочками и раздраженно сказала:

– Все с белогвардейскими своими анекдотами!

Толстый Климушкин закатисто хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.

– И вы тоже!

Господин вытирал под очками слезы.

– Очень, очень остроумно!

Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе-насмешливо.

Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:

– ... Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать, – в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном, – и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.

В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.

Катя сказала:

– Ну, хорошо. Это бы все еще можно, – если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.

– Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное, – важна эта атмо-

сфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор... Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.

Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки над нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась, – нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил – хорошим, серьезным тоном старшего товарища:

– В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсады, идти через все, не сойти с ума, – и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.

Катя потрянула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.

– Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу, – вы идейный, убежденный человек. И вот –

вы, Надежда Александровна, Седой... Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где-то там, вне поля вашей деятельности. Ну, скажите, – ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы... Как ваша фамилия?

– Воронько.

Катя отшатнулась.

– Во... Воронько?!

– Да.

Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.

Он улыбнулся про себя.

– Вы думали, – у меня не только руки, но даже губы в крови?

Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно-страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:

– Я ничего не понимаю...

Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.

Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел, – прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная бородка... Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, по-товарищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно... Катя искала в этих глазах за очками скрытой,

сладострастной жестокости, – не было. Не было и «великой тайной грусти».

Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.

Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает... И ведь, может быть, у него где-то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна, – что он живет бедняком и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.

Но как, – как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.

И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях, – не есть ли она нечто временное, служебное, – совсем то же, что, например, гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает, – и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?

В сущности, и до сих пор, – разве это всегда не было так? Вот, совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не

сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и, как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: «Вы так, – ну, и мы так!» И возвращаться в орденах, слышать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодеяниях. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно. Только поэтому?

Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:

– Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Вороньке.

Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:

– Он не освободит.

– Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными. А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.

Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.

Воронько внимательно выслушал.

– Нет. Он закоренелый контрреволюционер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при

белых энергично агитировал против советской власти.

Катя изумилась.

– От местных рабочих? Каких рабочих?

И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.

– Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и товарищ Седой, – я его освобожу.

И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решений своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:

– Он такой подписки не даст.

– Я знаю. Я ему уж предлагал.

– Товарищ Воронько! – Голос Кати зазвенел. – Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.

– Важны не его взгляды на революцию, а его действия.

– Господи! Что ж вы с ним сделаете?

Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.

– Если тут все будет благополучно, и сообщение наладится, отправим в Москву... Вот, товарищ Сартанова, все, что могу вам сказать.



И он указал на плакат:

Не задерживайте лишними разговорами.  
Кончив свое дело, уходите.

Катя открыла было рот, – сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.

По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя рассеянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с большим, извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас... Зайдберг! Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Вороньки.

Давно-давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.

Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучеметными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: «Расстрелять! Расстрелять!» Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: «Мой муж пропал без вести, – уж два месяца от него нет писем».

Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало

тяжелыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.

Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще, – мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И были в них что-то важное, организующее. И умершее. И чувствовалось, – ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.

Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипываяюще. Вздрогнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно быть, проснулась от собственного плача.

Катя тихонько позвала:

– Вера!

Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.

Надежда Александровна встретила Катю словами:

– Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все, кому не лень. Сегодня утром, по приказу Вороньки, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.

Катя натопорщилась, как еж.

– Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и никто не знает своих прав, – всякие другие будут такими же.

Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по ска-терти, оглядел стол.

– Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не на-до. Коньяк есть?

Надежда Александровна засмеялась.

– Кажется, есть. Посмотрю в буфете.

– Великолепно. На стол! Лорд-мэр дома?

– У себя в кабинете.

– Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд... Тук-тук!

Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.

– Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Сим-ферополя, – и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет, – и вагоны хлеба вырастут, как из земли.

Катя спросила:

– Кто это?

– Губпродком, комиссар продовольствия. Колесников. Удивительный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит, – никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как будто все время пьян своим делом.

Вера сдержанно заметила:

– Да, энергичный. Я с ним зимой работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно.

Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито, – как будто баранов.

Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.

– А зато его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России.

– Да... А все-таки... И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходить к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.

– Конечно, это всё... Но я не знаю. Сколько гляжу, – все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. По-видимому, это – две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом, – если нужно, то он может и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.

Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.

– Мартель, три звездочки. Очень хорошо.

Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок и проглотил.

– Что это?

– Глицерофосфат.

– Чтоб умным быть?

– Да.

– Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил. Так все на улицах пугались, – до того было умное лицо!

Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было темно, и поблескивали молнии.

– Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.

Катя встрепелулась.

– А что же бы тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?

Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких-то париев, она погибает от голода и холода, – погибает вся умственная сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки – и повесился тут же в кабинете... И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.

Надежда Александровна скучливо поморщилась.

– Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!

Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.

– Ну, барышня, давайте языками потрепем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслюнявленные словца. В помойку выкинуть эти окурки. Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям... Чепуха! Долг народу... Ч-чепуха! Сочувствие народное, «глас народный». Наплевать!

– И на сочувствие народное?!

– Наплевать!

– И на сочувствие рабочих?

– Если за нами не идут, – наплевать! И их устраним. Заставим идти за собою. Не доросли, линии не видят, а нам из-за того на месте топтаться? Давать им разводиться меньшевистскую слякоть?

Он протянул руку к бутылке. Надежда Александровна придержала бутылку.

– Смотрите: гроза, дождь так и льет. Вы все-таки хотите ехать?

– Через две минуты.

– Тогда не дам вам больше пить.

Он ладонью отрезал бутылку от Надежды Александровны.

– Никогда не бываю пьян. Когда до грозящей точки, – противно становится вино.

Выпил рюмку.

– Вот, барышня хорошая. Усвойте. Интеллигенция ваша нам ни к чему. Только две нужны категории: бывшие кадровые офицеры, – боевики, фронтовики, вот с этим! – Он потряс сжатым кулаком. – Да еще инженеры. Не ваши интеллигенты мягкие, а инженеры американского типа, чтобы умели дело делать, не сантименты разводить. А до профессорских штанов нам нет дела.

– Каких штанов?

– Ну, книг, что ли!

Он встал.

– Еду! – Подошел к буфету, открыл. – Ого! Еще целая бутылка коньяку. Реквизирую.

Лил южный дождь, грохотал гром. В бурную темноту уносился ухающий стон автомобильной сирены.

## Часть третья

Медленно извиваясь, по городу расплзались глухие слухи. Замирали на время, приникали к земле – и опять поднимали голову, и ползли быстрее, смелее, будя тревогу в одних, надежду – в других.

Рассказывали: на севере Петроград в руках Юденича, и он уже подходит к Твери; добровольцы взяли Синельниково и Харьков; махновцы перешли на сторону Деникина. Советские газеты сообщали, что Деникин овладел Донецким бассейном. Военный комиссар Ворошилов докладывал на съезде, что разбойничьи банды Григорьева рассеяны по лесам, но «идейное кулацкое ядро» кристаллизуется и представляет серьезную опасность. Передавали, что григорьевцы вовсе не рассеяны, – напротив: Григорьев идет к Перекопу на соединение с Махно, его лозунги: власть свободно избранным советам, отмена хлебной монополии и коммун, истребление евреев. Посланные навстречу красные войска перешли на его сторону. Советская власть в панике, на фронте полный развал, дисциплины никакой, солдаты пьянствуют и дезертируют.

Катя встретила на улице певца Белозерова.

– Владимир Иванович, вы слышали? Говорят, дела большевиков плоховаты.

– И вы верите! Какой вздор! И кто эти слухи распростра-



няет! Сейчас мне это самое говорил и Семенов, член коллегии земотдела. Буду сегодня в ревкоме, спрошу тамошних моих приятелей.

Возвращаясь со службы, Катя опять встретила Белозерова. Он шел, обняв каждую рукою по десятифунтовой банке, – одну с медом, другую с абрикосовым вареньем; через плечо висел окорок. Катя рассмеялась.

– Что это у вас?

– Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованные комнаты. Полны были золотой и серебряной посудой, мануфактурой, всевозможными припасами. Садовник донес. Вот, снабдили меня в ревкоме.

– А что вам сказали насчет общего положения дел?

– Вздор, конечно. Я так и думал. Работа провокаторов. Дела великолепны. Спросили меня: «Кто эти слухи распространяет?». Я сказал про Семенова. «Как фамилия? Семенов? А вот мы его запишем и покорнейше попросим!»

– Да неужели вы назвали фамилию?

Белозеров удивился.

– А что?

– Владимир Иванович, ведь это у порядочных людей называется доносом! Неужели вам не стыдно?

– А зачем они подрывают авторитет советской власти? Так им и надо!

Ездил Белозеров в Арматлук, – отвезти кой-какие при-

накопленные запасы и проверить сохранность своей дачи, огражденной всякого рода очень грозными бумажками. Дача охранялась специальным милиционером от ревкома.

В деревне тоже только и было разговору, что об уходе большевиков. Белозеров вывесил на дверях ревкома грозное объявление, что, мол, до сведения моего дошло о провокационных слухах, распространяемых злонамеренными лицами... Рабоче-крестьянская власть установилась в Крыму навсегда... распространители злостных слухов будут караться революционным трибуналом расстрелом на месте...

Неизвестно, в качестве кого подписал Белозеров это свое объявление. Он был только заведующим подотделом театра в Наробразе.

А слухи в городе становились настойчивее, тревога – ощутительнее. Шли повальные обыски. Произвели обыск и у Мириманова. Но, как всегда при повальных обысках, обыск был спешный и поверхностный. По ночам голубой луч прожектора пылливо шарил по морю и по горам над городом. Рассказывали, что в море были замечены миноноски, что им сигнализировали из садов на горах. Из уезда с береговых пунктов тоже доносили о появлении разведочных судов и о сигнализации с гор. Передавали, что на севере Крым вот-вот будет отрезан.

Профессор Дмитревский волновался и был задумчив. Катя расспрашивала Веру, – что слышно? Вера поспешно от-

вечала, что все идет хорошо. Но чувствовалось, – опять на-  
двигается буря.

Рабочие, поселенные в верхнем этаже дома Мириманова, с угрюмыми лицами спешно укладывались и уносили куда-то свои вещи.

В сумерках к Мириманову приходил бородатый казак с красною звездою на околыше. Катя уж и раньше несколько раз видела его. Через полчаса Мириманов ушел из дому и эту ночь не ночевал дома.

На краю города, в стороне от шоссе, стоит грязное двух-  
этажное здание с маленькими окнами в решетках. Поздним  
вечером к железным воротам подкатил автомобиль, из него  
вышли двое военных и прошли в контору. В темной конто-  
ре чадила коптилка, вооруженные солдаты пили вино, пели  
песни.

Один из военных властным голосом спросил:

– Комендант тюрьмы здесь?

Сидевший за столом матрос неохотно отозвался:

– Я комендант.

Военный отвел его в угол и на ухо спросил:

– Приказ, товарищ, получен вами?

– Получен. Сейчас ведем.

– Вот что. У вас тут есть арестант, подлежащий отправке  
в Москву. Доктор Сартанов. Нам нужно лично быть убеж-  
денными, что он больше... не будет опасен. Распорядитесь,

чтобы его привели.

Матрос благодушно улыбнулся.

– Не хотите ли еще кого? Хоть десяточек берите. Хватит на всех.

– Нет, нужно только его. – Он обратился к своему спутнику. – Товарищ Чанг, вы примете арестанта, а я подожду в машине.

Спутник-китаец ответил:

– Халясо.

Первый военный ждал в автомобиле, усевшись на сиденье рядом с шофером, впереди. Китаец вышел из ворот с Иваном Ильичом. Руки Ивана Ильича были связаны позади веревкою. Он сильно оброс и шел, почему-то прихрамывая. Китаец сел рядом с ним.

Военный на переднем сиденье коротко шепнул шоферу:

– В штаб Духонина.

Машина заворчала, плавно сорвалась с места и покатила к шоссе. Там свернула влево от города и помчалась в горы.

Иван Ильич удивленно огляделся.

– Куда вы меня везете?

Китаец не ответил. Иван Ильич выпрямил спину, глубоко вздохнул и поглядел на теплый, сухой сумрак, окутывавший придорожные кусты, на яркие звезды над горами. И еще раз он глубоко вздохнул, потом откинулся на спинку сиденья, опустил голову и больше ее уж не поднимал.

Машина мчалась по шоссе, среди тихого аромата лесных

трав. Все молчали. Военный, сидевший рядом с шофером, вдруг сказал:

– Стой!

Остановились над лесистым откосом, отгороженным от шоссе рядом столбиков.

– Вы проедете дальше, – там можно будет повернуть машину.

И слез. Китаец тоже вышел и велел выйти Ивану Ильичу. Первый военный побледнел и срывающимся шепотом сказал на ухо китайцу:

– Я сам. Садись обратно в машину.

Китаец бесстрастно моргнул узенькими глазными щелками и полез назад.

Автомобиль покати́л дальше. Внизу, где мягкая дорога впадала в шоссе, он повернул и, не спеша, двинулся обратно. Остановился над откосом, дал призывный гудок. Как бы в ответ, внизу, под черными купами ясеней, коротко ударил револьверный выстрел. Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем.

Машина помчалась к городу.

Через полчаса после отъезда автомобиля от тюрьмы железные ворота широко распахнулись, вышла большая толпа людей, окруженная вооруженными солдатами.

Жители татарской слободки, еще не спавшие, слышали за

окнами взволнованные мужские голоса, женский плач, пьяную матерную ругань, удалявшиеся по направлению к свалкам. Старик татарин, вышедший к калитке посмотреть, через четверть часа услышал в темноте за свалками далекие вопли, сухие ружейные залпы, перемежающиеся отдельными выстрелами. Прорезал тишину безумный, зверино-предсмертный вопль, оборвавшийся выстрелом, и все стихло.

Улицы были пустынные. Ходили патрули вооруженных рабочих. В учреждениях висели объявления о вздорных слухах, злобно распространяемых провокаторами, и приказывалось всем служащим быть на местах. Однако почти никто не явился.

Катя нагнала на улице Белозерова. С желтым, спавшимся лицом, он тащил огромный узел с вещами.

Катя смотрела смеющимися глазами.

– Ну, что, Владимир Иванович, – провокационные слухи? Белозеров покрутил головой.

– Плохо дело.

– Куда это вы?

– В советской квартире оставаться неудобно. Перебираюсь к знакомым на частную.

Кате захотелось его подразнить.

– А ведь, пожалуй, придется вам дать ответ в кой-каких ваших действиях.

Он еще больше пожелтел, в глазах прополз унылый испуг.

– Собственно, что ж я такого делал? – Потом покрутил головою и бледно улыбнулся. – А ведь, чего доброго, – повесят!

– Ну, не повесят. Споете им из «Жизни за царя»: «Чую правду».

У крыльца военного комиссариата стояла кучка красноармейцев. Один насмешливо спросил Белозерова!

– Что, товарищ, на дачу перебираетесь?

– Да, знаете, – на прежней воздух что-то плох стал.

В толпе засмеялись. Сзади до них донеслось:

– Пулю бы ему в спину!

Белозеров свернул в переулок.

На набережной просто одетая женщина, по виду прислуга, подбежала к парню с винтовкой и крикнула:

– Патруль! Останови эту женщину! Она контрреволюционерка!

Хорошо одетая дама спешила уйти в боковую улицу.

– Держи, а то уйдет!

Милиционер побежал за дамой и схватил ее за руку.

– Что вам надо?

– Она сейчас пропаганду пушала. Говорила, что слава, мол, богу, большевиков гонют. Грабителями называла большевиков.

– Что вы... Оставьте меня... Чего вы меня хватаете?

– Ты что говорила?

– Ничего я не говорила... Спрашивала только, правда ли,

что большевики уходят из города.

– Ишь, какая теперь смиренная стала! Нет, ты говорила: туда им и дорога, сволочи поганой. Придут доброволы, они вам всем покажут, как нас обижать... Веди ее, патруль! Я в свидетелях.

Парень с обеими женщинами пошел к Особому отделу.

На бульваре, у постамента снятого памятника Александру Второму, Катя встретила Мириманова. Он спросил глухим голосом:

– Вы слышали, что они сегодня ночью сделали?

– Что?

– Расстреляли всех заложников и политических арестованных. Вывели из тюрьмы и расстреляли за свалками.

– Что вы говорите?!

– Там уж целая толпа родственников.

– Господи! Да ведь в тюрьму, наверно, и папу перевели!..

Катя бросилась прочь. Вбежала в Женотдел. В загаженных комнатах был беспорядок, бумаги валялись на полу, служащих не было. В дальней комнате Вера с Настасьей Петровной и татаркою Мурэ жгли в комнате бумаги. Вера исхудала за несколько часов, впалые щеки были бескровны.

– Вера! Скорей, пойди сюда!

Они вышли в пустую комнату.

– Ты знаешь, что сегодня ночью... Говорят, ночью расстреляли всех, кто в тюрьме.

Вера, прикусив губу, ответила:



– Да. Расстреляли. Увезти невозможно, а оставить – значит освободить. Опять пойдут против нас.

– Расстреляли! Всех! Значит, и папу!.. Господи! И это тоже нужно было для революции? Честного, благородного, непреклонного! Ни пятнышка на всем человеке!

Катя прорвалась рыданиями.

– Проклятье вашей революции, которая привлекает к себе только подлецов и хамов и уничтожает всех благородных! И ты, – ты тоже с этими палачами! А ведь раньше ты руку отказалась подать доктору только за то, что он присутствовал при казни!.. Вера, Верочка! Что же это такое случилось?

– Ну, Катя!..

– Что такое случилось? Верочка, да неужели же это возможно?

По бледным щекам Веры непроизвольно лились слезы, но лицо было неподвижно и строго. Катя сказала:

– Пойдем, посмотрим трупы. Может, отыщем папу.

– Пойдем.

Ивана Ильича среди трупов не оказалось.

Под вечер в комнату к ним поспешно вошла Надежда Александровна.

– Вера, едем. Машина у крыльца, наши ждут... Что это с тобою?

Вера безучастно спросила:

– Куда едем?

Надежда Александровна удивилась.

– Как куда? В Джанкой. Приказ – немедленно эвакуироваться всем ответственным работникам, ты же знаешь. Военским частям тоже приказ, – как можно скорее уходить с позиций.

– Да, да... – Вера повела глазами, словно стараясь что-то припомнить. Да. Захватите других товарищей.

– Ты с ума сошла, Вера! Обязательно должна и ты ехать. Что же тогда партийная дисциплина?

– Конечно, я еду. За мною обещал заехать Леонид. Я его жду.

– Ну, это другое дело. Только не задержитесь. Деникинцы высадились в Трехъякорной бухте и идут наперерез железной дороги. Может быть, уже отрезали нас.

– Да, конечно...

Надежда Александровна пристально вглядывалась в Веру. Ее поразили ясный, радостный свет, сиявший на ее лице, и страдальчески сжатые губы.

– Вера, чего ты, право? Всегда же бывают неудачи. Приходится отдать Крым. Вообще это была ошибка, не следовало его сейчас занимать, Троцкий определенно это заявил.

– Да, это верно.

– Ну, пока!

Глаза Надежды Александровны вспыхнули светлыми прожекторами, с мягко-материнской нежностью она обняла Веру, заглянула ей близко в глаза и крепко поцеловала. И еще

раз с сомнением заглянула ей в глаза. Потом с усмешкою обратилась к Кате:

– До свиданья! Вы, наверно, рады, что возвращаются белые. Но недолго им тут быть!

Катя с ненавистью взглянула на нее и ничего не ответила.

– Значит, на повороте, у оврага, где разбитое дерево...

– Так точно!

Они стояли близко друг от друга и, глядя в стороны, говорили вполголоса. Пищальников продолжал седлать лошадей, а Храбров вышел из сарая и жадно закурил.

Спешно грузились на дворе фурманки. По улице проезжали орудия. Над крылечком в вечерних сумерках еще трепыхался красный флаг. Из помещения штаба вышел Крогер и холодно сказал:

– Нужно спешить, пока месяц не взошел. Едем.

– Едем. Лошадей седлают... Товарищ Мохов, через час выступите по маршруту, не дожидаясь нас. Мы выезжаем на позиции, пойдем вместе с полками.

– Хорошо, товарищ Храбров, – отозвался начальник штаба.

Пищальников вывел из сарая трех оседланных лошадей.

Храбров и Крогер, а сзади них Пищальников поехали крупной рысью через безлюдную деревню, разрушенную артиллерийским огнем. Выехали в степь. Запад слабо светился зеленоватым светом, и под ним черным казался простор

некошеной степи. Впереди, за позициями, изредка бухали далекие пушечные выстрелы белых. Степь опьяненно дышала ароматами цветущих трав, за канавкой комками чернели полевые пионы.

Ехали молча. Лошадь Пищальникова горячилась, прыгала, то наскакивала сзади почти на круп лошади Крогера, то отставала, и Пищальников ругался на нее.

– Застоялся, Ирод!.. У, чума тебя возьми!..

Уродливую массу зачернелась над оврагом разбитая снарядом ветла, с надломившимся, поникшим к земле стволом. Опять лошадь Пищальникова наскочила сзади на лошадь Крогера. Быстрым движением Пищальников выхватил шашку, сжал коленями бока лошади и, наклонившись, с тяжелым размахом ударил Крогера по голове. Крогер охнул, повалился на гриву, и еще раз Пищальников полоснул его наискось по затылку.

Лошадь скакала, изогнув шею, на боку ее висел вниз головою Крогер, запутавшийся в поводьях и стремях, а рядом, нагнувшись, скакал Пищальников и старался схватить лошадь за узду.

Слезли с коней. Храбров коротко сказал:

– Стащи его в овраг.

В овраге, под кустом тальника, Храбров обшарил карманы латыша, вытащил у него печать и жестяную коробочку с чернильной подушкой. Засветил карманный электрический фонарик и приложил печати к заготовленным заранее бума-

гам. Пищальников обтирал с шашки кровь о потник крогеровой лошади.

– Ну, вот, Пищальников. Скачи на позиции, отдай по бумаге каждому из командиров и приезжай назад. Буду ждать там подальше, в овраге... Спустишься в овраг, свистни.

– Слушаю, ваше благородие!

Пищальников радостно поскакал, а Храбров с двумя лошадьми пошел в глубь оврага.

Тихо было. Над степью поднялся красный, ущербный месяц. Привязанные к кусту лошади объедали листву, и слышно было их крепкое жевание. В росистой траве светились мирным своим светом светляки. Храбров сидел на откосе и курил.

С дороги донесся осторожный свист. Храбров откликнулся. Продираясь сквозь кусты, подошел Пищальников, ведя на поводу лошадь, и доложил:

– Выступают.

Они сидели и прислушивались. Долго сидели. Месяц поднялся выше.

Глухой, медленный топот ног донесся от дороги и сдержанный говор. Пищальников выполз на край оврага и наблюдал из-под пушистого куста тамариска. Все новые проходили толпы, с тем же темным топотом.

Пищальников сошел вниз.

– Все прошли. Дорога пустая.

Храбров вскочил.

– Ну, Пищальников...

Они поглядели друг на друга, – вдруг обнялись и крепко поцеловались.

– Едем!.. Погоди.

Храбров снял с околыша пятиконечную звезду, бросил ее наземь и растоптал каблуком.

Потом вырезал в орешнике палку и привязал к ней в виде флага свой носовой платок.

Жадно дыша степным воздухом, они скакали к опустевшим окопам, навстречу свободе.

Солнца еще не было видно за горами, но небо сияло розовато-золотистым светом, и угасавший месяц белым облачком стоял над острой вершиной Кара-Агача. Дикие горы были вокруг, туманы тяжелыми темно-лиловыми облаками лежали на далеких отрогах. В ущелье была тишина.

Командир полка, бывший ефрейтор царской службы, спросил:

– Это – ущелье Гяур-Бах? Верно?

Красноармеец, с белыми усиками на бронзовом лице, ответил:

– Верно, верно! Говорю вам, места эти мы хорошо знаем, весною, как в партизанах были, все эти горы исходили вдоль и поперек.

Командир полка и политком со скрытым недоумением перечитывали приказ. Командир озабоченно оглядывал широкое ущелье с каменистым руслом ручейка, крутые обрывы

скал по бокам. Впереди, на отроге горы, чернел лес, в двигавшихся клубках розовевшего тумана мелькали шедшие к опушке серые фигуры разведчиков.

Лица солдат были серые от бессонной ночи и пыли. Солдат с белыми усиками радостно говорил:

– Места знакомые. Помнишь, Гриша, весной из того самого леска мы обоз с провиантом отбили у белых.

Другой солдат, с черной бородкой на желтовато-бледном лице, отозвался:

– Как не помнить! С голоду там подыхали в горах. – Он засмеялся. – Как ты тогда на муку-то налетел? Увидал, братцы, муку, затрусился весь. Ну ее горстями в рот совать! Рожа вся белая, как у мельника. Потеха!

Белоусый зевнул продрогшим зевком и потопал ногами.

– Хорошо бы теперь в открытую подраться. Надоело в окопах сидеть.

Теплый ветерок дул от невидимого моря. Далеко где-то бухали пушечные выстрелы.

– Стой, где же это пушки стреляют? Вот так штука! Неужто уж в Крыму белые?

– Не иначе, как в Эски-Керыме стрельба.

– Ишь, св-волочи... Высадку, что ли, сделали?

Смутная тревога пронеслась по рядам. Лица стали серьезны, глаза внимательно оглядывали горы.

Показалось солнце. Зазолотившиеся клубы тумана, как настигнутые воры, стремглав катились по скатам вверх, бес-

шумно перекатывались через кусты, срывались с вершин и уносились в сверкающую синь.

Вдруг в лесу гулко раздались выстрелы. Под гору, пригнувшись, бежали назад разведчики, один, подстреленный, упал и закувыркался с винтовкою. Охнул и со стоном опустился наземь чернобородый. Лес ожил и загудел выстрелами.

Ничего нельзя было понять. Валились вокруг убитые и раненые, люди метались, ища прикрытия. Лес быстро и мерно тикал невидимыми пулеметами, трещал залпами. Командир, задыхаясь, крикнул:

– Товарищи! Засада!.. Рассыпайся! Назад к шашше!

Бежали, пригнувшись. Припадали за камнями, отстреливались и перебежали дальше. Чернобородый, опираясь прикладом в землю, с выпученными глазами прыгал на одной ноге.

Вдруг на противоположной стороне, у входа в ущелье, на выступе горы замелькали цепи. Стройные фигуры юнкеров перебежали, стреляя, от куста к кусту. Двое устанавливали за большим камнем пулемет.

Держась за окровавленную голову, командир крикнул с веселым отчаянием:

– Вперед, товарищи! Пробивайся к шашше!.. Да здравствует трудовая власть!

И, шатаясь, побежал. Белоусый, потрясая винтовкою, обогнал его. – Ура!



– Ур-ра-а!!!

Солдаты бурно побежали в гору на юнкеров. А в спину, из леса, частым грозовым дождем сыпались пули; люди, дергаясь в судорогах, катились с откосов. Из глубины ущелья скакали казаки.

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (железнодорожный мост накануне опять был взорван кем-то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка, на основании каких-то странных распоряжений из штаба бригады, ушли куда-то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали разъезды кубанских казаков.

Утром Вера поспешно связала в узелок немногочисленные свои пожитки. Лицо ее было окаменевшее, но глаза светились освобождающей душу радостью. И вся она странно светилась. Катя с изумлением глядела на нее.

– Куда ты?

– Ну, куда! К товарищам, конечно. В каменоломни.

– Вера, да что ты?!

Катя хотела начать ее убеждать, но слова не дошли до губ, когда она почувствовала душою это блаженное свечение Вериного лица: как будто радость пришла, освобождавшая от всех раздумий и мук, и впереди ждало что-то несомненное и бесконечно светлое.

Катя впилась глазами в лицо Веры, и, задыхаясь, спросила:

– Вера... Мы больше не увидимся?

– Отчего же? Не знаю... Все может быть.

Катя зарыдала и охватила руками шею Веры.

– Вера! Прости меня!

– За что? Девочка моя, да что ты? За что простить?

– Ты знаешь, ты знаешь!.. Но я не могла удержаться, слишком больно было за папу... Господи! И ты, – ты тоже уходишь!

Она плакала жалобным детским плачем. Вера гладила ее по голове.

В шестом часу вечера в город без сопротивления вошли кубанские казаки и стали биваком на базаре.

Утром Катя вышла на улицу. Блестели золотые погоны. Повсюду появились господа в крахмальных воротничках, изящно одетые дамы. И странно было: откуда у них это после всех реквизиций?

На стенах были расклеены большие афиши:

Сегодня, 12 июня 1919 года,  
в пользу доблестной Добровольческой армии  
в Городском театре  
дан будет спектакль  
с участием артиста Государственных театров  
В.И. БЕЛОЗЕРОВА.

Сообщалось, что пойдет пьеса «В старые годы» с участием лучших сил труппы и что затем выступит В.И. Белозеров в любимейших номерах своего репертуара.

Из вестибюля театра взволнованно выходили актеры. К Кате подошла премьерша театра, Борина-Струйская, с красивым и нервным лицом.

– Читали вы афишу?

– Да.

– Представьте себе, мы все тоже узнали об этом спектакле только сегодня из афиши. Вчера вечером Белозеров явился к коменданту города и от лица труппы заявил, что мы желаем дать спектакль в пользу добровольцев... Мы не большевики. Но как же это можно? На днях только получили жалованье от большевиков, а сегодня – играть в пользу добровольцев! Сейчас был в театре Белозеров, мы на него. А он: «Хорошо! Не хотите, – ваше дело. Поеду к коменданту, заявлю, что труппа отказывается играть в этом спектакле»... Каков подлец! Ну, что же нам делать? Приходится играть. Каждому своя шкура дорога.

В «Астории» играла музыка. На панели перед рестора-

ном, под парусиновым навесом, за столиками с белоснежными скатертями, сидели офицеры, штатские, дамы. Пальмы стояли умытые. Сновали официанты с ласковыми и радостными лицами. Звякала посуда, горело в стаканчиках вино.

Из ресторана вышел Белозеров с довольным, успокоенным лицом, в свежем летнем костюме. Увидел Катю, дрогнул и вежливо, низко поклонился. Катя с холодным удивлением оглядела его и отвернулась.

Молодой хорунжий-кубанец вежливо разговаривал с Миримановым.

– Уверяю вас, вам же будет удобнее, если полковник поселится у вас. Он и двое нас, адъютантов, и уж никто больше не будет вас тревожить. Знаете, первые дни всякие бывают неприятности. А у нас вы будете себя чувствовать, как у Христа за пазухой.

Через два часа они приехали. Полковник поселился в кабинете, адъютанты в соседней комнате. Обедали они в столовой.

Долго, до поздней ночи, в столовой гудели голоса, приходили и уходили люди, то и дело хлопала дверь. Мириманова это заинтересовало. Он вошел в столовую, как будто, чтобы взять графин.

Полковник пил вино. На столе стояли бутылки. Адъютант писал в большой тетради, а перед ним лежала груда золотых колец, браслетов, часов, серебряных ложек. Входили казаки

с красными лицами и клали на стол драгоценности.

– А-а, господин хозяин!

Полковник радушно вытянул руки в его направлении.

– Присаживайтесь. Могу предложить стаканчик винца?

Мириманов сел.

– Что это у вас тут на столе?

– Это? Военная добыча.

Мириманов удивленно смотрел.

– Какая военная добыча?

Полковник переглянулся с адъютантом и засмеялся, как при наивном вопросе ребенка.

– Ну! Какая!.. Вы что же думаете, казаки наши не хотят пить-есть?.. Но вы поглядите, какая «организованность»! «Товарищи» бы позавидовали. Не каждый сам для себя, а в громаду несут, в полковой фонд.

Мириманов задумчиво поглаживал усы.

– А вы не думаете, полковник, что это может раздражать население, возбуждать его против добровольческой армии?

– Да ведь мы не так, как махновцы: те с пальцами отрезают кольца, а мы снимаем. И больше все у жидков.

Ночью, среди притаившейся тишины, изредка слышались вдалеке крики «караул!» и одиночные ружейные выстрелы.

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии города им три дня разрешается грабить. На Джигитской

улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносчики-любители и указывали на «сочувствующих». К Кате забежала фельдшерница Сорокина, с замершим ужасом в глазах, и рассказала: перед табачной фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила, – все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах.

Арестовали и профессора Дмитревского. Жена его, Наталья Сергеевна, пришла в контрразведку. Ротмистр с взломаченными усиками, очень напоминавший прежних жандармских ротмистров, встретил ее сурово.

– Нет, ему никакого снисхождения не будет. Можно еще простить учителя какого-нибудь, который с голоду пошел к ним на службу. Но он, – тайный советник! – и связался с этими негодьями!

– Но ведь он заведовал просвещением. Он не большевик, он смотрит, что самое убийственное оружие против большевиков, как и против самодержавия, просвещение. Он пошел к ним, как шел раньше к самодержавию.

Ротмистр покоробился при таком упоминании о самодержавии. Он резко ответил:

– Вы, госпожа Дмитревская, этими фразами нас не убедите. У нас против него есть такой один документик...

И он развернул перед нею газету «Красный пролетарий» с отчетом о первомайском празднике.

– Вот что он говорил, ваш поклонник просвещения! «Социализм сумеет насадиться только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего».

Наталья Сергеевна побледнела.

– Тут его слова извращены, он говорил совсем другое!

– Ну, конечно! Что ж вам еще на это возразить.

Наталья Сергеевна указывала, сколько людей спас Дмитревский от расстрела и тюрьмы своими хлопотами.

– Это, сударыня, нас очень мало трогает. Чем больше компрометировали бы себя большевики, тем для нас было бы выгоднее.

Само же европейское имя Дмитревского, видимо, ничего не говорило ротмистру. Большевики ценили крупных деятелей науки и искусства, относились к ним подчеркнуто бережно. Здесь же Дмитревский был только тайный советник.

Катя бросилась к Гольдбергу, бывшему управляющему делами их отдела. Оба они развили чисто электрическую деятельность. Катя написала заявление, где, как свидетельница, рассказывала об извращении газетным отчетом речи профессора, об их совместном посещении редакции. Гольдберг отыскал несколько других свидетелей, слышавших речь и согласившихся дать показания. Расшевелил учительский союз, союз деятелей науки и искусства, убедил их подать заявление с ходатайством за Дмитревского как европейского ученого,

гордость русской науки. Собирал под ходатайством подписи и у именитых граждан. Бывший городской голова Гавриленко охотно подписался. Катя обратилась к Мириманову. Мириманов отрицательно помотал головою и ответил:

– Нет, извините, – не подпишу. Зачем он к ним пошел? Сама себя раба бьет...

– Но ведь вы же знаете, как он корректно все время держался, как он всегда...

– Екатерина Ивановна! Все мы отлично понимаем, для чего он пошел к большевикам: спасался от издевательств, сберегал дачу свою от разгрома. И для этого выбрасывал иконы из школ, говорил демагогические речи... Должен был знать, на что идет.

Депутация шла по коридору «Европейской гостиницы», занятой управлением командования. Были в депутации председатели учительского союза, союза деятелей науки и искусств, городской голова Гавриленко, Катя с Гольдбергом.

Вызвали адъютанта.

– Нам нужно видеть коменданта города. Вы нам назначили прийти сегодня в пять часов.

– Пожалуйста, немножко подождите. Его еще нет.

В ожидании, они медленно расхаживали по коридору с стоявшими у дверей часовыми-кубанцами. В глубине коридора показался сухощавый казачий офицер. Он вдруг остановился перед молодым казаком-часовым и сказал:



– Здравствуй!

Казак ответил:

– Здравия желаю, господин есаул!

– Что? Не слышу!

Казак подтянулся и громко повторил:

– Здравия желаю, господин есаул!

– Не слышу, черт твою мать дери!!!.. Как руки держишь, с-сукин сын?!!

Часовой вытянул руки по швам и гаркнул на весь коридор:

– Здравия желаю, господин есаул!!

Офицер постоял, молча погрозил пальцем перед его носом и вошел в номер.

Катя в изумлении спросила казака:

– Неужели у вас и теперь офицеры так разговаривают с солдатами?

Часовой, сконфуженно улыбаясь, покрутил головою.

– Он так всегда с молодыми казаками. Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Он хороший, мы его любим.

Оказалось, это и есть комендант. Но адъютант попросил еще немножко подождать. Ждали долго. За дверью номера слышались грозные, раскатывающиеся крики, робкий голос что-то отвечал.

Катя опять вызвала адъютанта. Он вышел растерянный.

– Господа! Вот что я вам скажу: утро вечера мудренее.

Придите лучше завтра.

Катя настаивала.

– Завтра, завтра приходите. Сейчас не совсем удобно. Прошу вас, уходите!

И он исчез в номере. За дверью слышался шум, грозные выкрики. Подошел Гольдберг.

– Мне сейчас сказали: комендант пьян, и лучше его сегодня не тревожить.

Дверь стремительно распахнулась. В коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер в коричневом френче. Он крикнул, всхлипывая:

– Посмотрите, что они со мной делают!

Рука держалась за расшибленные зубы, из перебитого носа лилась кровь, пуговицы френча были оборваны. Часовые толкнули его обратно в номер. Катя узнала Бориса Долинского, племянника Мириманова.

Опять за дверью зарокотали пьяно-грозные выкрики:

– Руки по швам, мерзавец! Большевикам продался! А еще офицер!

Вышел адъютант.

– Потрудитесь уйти. Сказал же я вам!

Катя крикнула:

– Господи! Вы там избиваете человека!

Часовые выпроводили их вон.

Катя шла по улице и дрожала мелкою внутренней дрожью. И вдруг ей вспомнились подведенные глаза Бориса, его кокетливо поющий голос:

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,  
Я трагедию жизни претворю в грезо-фарс...

Навстречу, под руку с офицером в блестящих погонах,  
шел, весело болтая, певец Белозеров.

На стенах и каменных заборах висели объявления новой власти. Не приказы большевиков – грозные, безоглядные и прямо говорящие. Скользко, увилисто сообщалось о твердом намерении идти навстречу «действительным» нуждам рабочих, о необходимости «справедливого» удовлетворения земельной нужды крестьян. И чувствовалось, – это говорят чужие люди с камнем за пазухой, готовые уступить только то, чего никак нельзя удержать, – и все отобрать назад, как только это будет возможно.

Мириманов, довольно посмеиваясь, писал в суд исковое прошение о взыскании с рабочих, живших в его доме, квартирной платы и убытков за побитые стекла, испорченные водопроводные краны. Вселились обратно Гавриленко и доктор Вайнштейн. Мириманов предложил им свои безвозмездные услуги по отобранию у рабочих унесенных ими вещей. Гавриленко поморщился и отказался. Вайнштейн лукаво улыбнулся, поднял ладони и ответил:

– Нет, бог с ними! Что с возу упало, то пропало. Разве я знаю, что будет опять через два месяца?

Загорелый, оживленный и радостный, Дмитрий сидел у Кати, с жадною любовью оглядывал ее и рассказывал:

– В народных массах совершился несомненный перелом, большевизм изживается. В Купянске жители встретили нас на коленях, с колокольным звоном. Когда полки наши выступали из Кубани, состав их был двести – триста человек, а в Украину они вступают в составе по пять, по шесть тысяч. Крестьяне массами записываются в добровольцы. В Харькове рабочие настроены резко антибольшевистски, не позволили большевикам эвакуировать заводы. Вот увидишь, через два месяца мы будем в Москве.

Катя устало слушала.

– А не кажется вам, Дмитрий, что вы все время вдеваете толстую нитку в узенькое игольное ушко, и все силы на это кладете? Не кажется вам, что ваша нитка никогда в это ушко не пройдет?

Дмитрий дрогнул и удивленно взглянул на Катю.

– «Вам»? Катя, ты сказала – «вам»?

Она сказала «вам», но не заметила этого. Покраснела и с усилием стала говорить «ты».

Когда через полчаса ушел Дмитрий, оба почувствовали, что ничего между ними нет.

Из Арматлука пришла в город Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского, и сообщила Кате, что Иван Ильич дома, у себя на даче. Уже с неделю дома, при-

шел пешком, рано утром. Только он очень болен, все лежит. И совсем без призора.

Катя, сумасшедшая от радости, расспрашивала, что случилось с отцом, как он попал домой.

– Не знаю. Он ничего не рассказывает.

Катя в полчаса собралась и пошла в Арматлук.

Пришла она под вечер. В спальне своей лежал Иван Ильич со страшно исхудалым, темным лицом и запавшими глазами. Он слабо и радостно улыбнулся навстречу Кате, и улыбался все время, когда она, рыдая, целовала его руку.

С трудом, на каждой фразе останавливаясь, он рассказал, как его вывели из тюрьмы и повезли на автомобиле в горы, как ссадили на дороге и как военный повел его под откос в кусты.

– Ну, думаю, конец! Вдруг он говорит: «Дядя, не бойтесь ничего, это я». Вглядываюсь в темноте: «Леонид! Ты?» – «Тише! Идите скорей!». Спустились под откос, он развязал мне руки. Наверху зашумел приближающийся автомобиль, загудел призывной гудок. – «Не пугайтесь, – говорит, – я сейчас выстрелю. С час посидите тут, а потом идите к себе, в Арматлук. В город не показывайтесь, пока мы еще здесь». Выстрелил из револьвера в кусты и пошел наверх.

Иван Ильич помолчал, потом спросил:

– А с другими что сделали?

– Всех расстреляли ночью за свалками.

Про Анну Ивановну они не говорили. Катя спросила:

– А что с тобою?

– Не знаю... Сначала думал, – ревматизм. Холодно было в подвале и сыро. Сильнейшие боли в колене, – в одном, потом появились в другом. И слабость бесконечная, все бы лежал, лежал. По бедрам красные точки, как от блошиных укусов. А вчера посмотрел, – багровые и желто-голубые пятна на бедрах... Ясное дело, – цинга. Только странно, что на деснах ничего. Но так бывает. Это все пустяки.

Он устал говорить и закрыл глаза.

– Ты что-нибудь ел сегодня?

– Да, да, ел. Старуха Воздвиженская принесла супу.

– Я сейчас что-нибудь приготовлю.

Катя пошла в кухню. Плита была снята, духовой шкаф и котел выломаны, виднелись закоптелые кирпичи. В комнатах, где жили солдаты, с диванов и кресел была срезана материя, голые пружины торчали из мочалы. Разбитые окна, грязь.

Столбы провололочной ограды были срублены, по неогороженному саду бродили коровы. Объединенные фруктовые деревья и виноградник, затоптанные гряды огорода. В пустом курятнике белел давно высохший куриный помет, пусто было в чуланчике под лестницею, где жил поросенок.

Кате вдруг со смехом пришло в голову:

...мы старый мир разроем  
До основанья, а затем...

Она вяло побрела в кухню.

За поселком, под шоссе́йным мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умиловать белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Авраамиди. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

– Этакую грязь разводил, – а еще крест носишь!

И сговаривались между собою:

– Всем по двадцать пять шомполов вкатим по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанасия Ханова. Арестовали почему-то и Капралова, увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подписать бумагу, что они от него обиды не имели. Почтительно кланялся, стоял без шапки.

Агапов, ласково и торжествующе улыбаясь, ходил с милиционером по крестьянским хатам и отбирал свою мебель, посуду и белье. Вечерами же писал в контрразведку длинный доклад с характеристикой всех дачников и крестьян. Бубликов немедленно высадил из квартиры княгиню Андожскую.

Все комнаты своей гостиницы он сдал наехавшим постояльцам. Круглая голова его, остриженная под номер, сияла, как арбуз, облитый прованским маслом.

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панамах, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

– А они, – они опять голые на песке лежат!

В женскую камеру городской тюрьмы, позвякивая шпорами, вошли два офицера, за ними – начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку!

– Сарганова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

– Это которая?

– Что по дороге в каменоломни поймана, господин полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко ска-



зал:

– Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Перевести в камеру номер семь.

Начальник тюрьмы почтительно наклонился к нему.

– Там мужчины, господин полковник.

– Что ж из того! Вы их этим не удивите. Привыкли ночи спать с мужчинами. Только веселей будет напоследок. У них это просто.

Спутники засмеялись.

В тесной камере № 7 народу было много. Вера села на край грязных нар. В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрыдавшийся женский голос.

Рядом с Верою, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях-пасталах, – сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

– Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

– Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

– У вас семья есть, дети?

– Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

– Вы, товарищ, коммунистка?

– Да. А вы?

– Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

– Сартанова.

– Сартанова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сартанов фамилия.

Вера быстро спросила:

– Вы из Арматлука?

– Да.

– Где сейчас доктор Сартанов?

– Дома. Его было арестовали, а в последний день, видно, выпустили. Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

– Верно?

– Ну да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головою к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

– А вы родственница ему?

– Это отец мой... Ну, да! – Она овладела собой.

– Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна, – тоже хорошая. Очень она интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит, сестрица вам. А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

– Какие мысли?

Он помолчал.

– Вообще, – насчет жизни... Вот, говорим мы, – чтобы

всем хорошо стало. А делаем так, что все еще хуже. Я вот был председателем ревкома. Сколько всяких делал зверств! А из города приезжают, кричат: «Что ты их жалеешь? Какой ты коммунист! Ты, видно, кулацкого элементу!» Мужиков всех разобидели, они нас ненавидют. А я ведь сам мужик. И с интеллигенцией тоже, – как бы ее поприжать да поиздеваться над нею. Батюшку вашего в тюрьму потащили, – за что? Понимаете, сам его арестовывал, а потом неделю целую во сне видел.

– Слушайте, товарищ... Как ваша фамилия?

– Ханов.

– Слушайте, товарищ Ханов. Что вы говорите, – это все и мне так близко! Скажите мне, – вы раньше когда-нибудь читали Евангелие?

– Читал. Я раньше и Толстова много читал, даже жить было по нем начал. Да как-то у него все это... Не получил я покою.

– Так вот, в Евангелии есть: «кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее». Пришло такое время, что нельзя думать о чистоте своей души, об ее спокойствии. С этим – как бы все было легко! Вы только подумайте: ну, что лишения, смерть? Какие пустяки! Правда, как все это было бы легко? Разве вас сейчас смерть мучает, которая вас ждет? Я вижу: вас мучает, что перед вами смерть, а позади – кровь и грязь, грязь, в которой вы все время купались.

Ханов изумленно глядел на Веру.

– Как вы это узнали?.. Да, да. Понимаете, – вот, как вы сказали, – в грязи купался!

– Вот. В том и ужас, что другого пути нет. Миром, добром, любовью ничего нельзя добиться. Нужно идти через грязь и кровь, хотя бы сердце разорвалось. И только помнить, во имя чего идешь. А вы помнили, – иначе бы все это вас не мучило. И нужно помнить, и не нужно делать бессмысленных жестокостей, как многие у нас. Потому что голова кружилась от власти и безнаказанности. А смерть, – ну, что же, что смерть!

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то, чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложа руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

– А как скажете, товарищ, – скоро социализм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

– Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

– Через два месяца будет?

– Ну, не через два... – Вера поглядела на него и улыбнулась. – Через два-три года.

– Это ничего. Столько можно подождать. – Матрос радостно засмеялся. То-то они так злобятся: чувствуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

– И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализма. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся.

– Ну, ты, Капралов, – всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него.

– Как не выйдет?!

– Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него.

– За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся.

– Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него и показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили, шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи

и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

Толпа людей рыла за свалками ров, – в него должны были лечь их трупы. Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода и волнения. Вокруг кольцом стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших. Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не подъем и не шутки дивили офицера, – это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или насады не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущейся из души, торжествующею радостью, как будто она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море, на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом привычными, мужицкими взмахами работал киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

– Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

– Стройся! Спиной ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкою свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно-легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

Вставай, проклятьем заклеименный.

Весь мир голодных и рабов...

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

– Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм! Не долго уж вам, проклятые!..

Офицер бешено крикнул:

– Пли!!

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. Он – с ввалившимися щеками, с глазами, как у быка, которого ударили обухом меж рогов. У нее, вместо золотистого ореола волос, слежавшаяся собачья шерсть, бегающие глаза исподлобья, как у затырканной кухарки. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

– Не стану я поливать абрикосов! Понимаешь ты это? И так погибаем от работы. Не до абрикосов!

– Ты-то погибаешь? Барином живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется мне и абрикосы поливать.

– Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко...

– Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещом каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки... Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!

Четыре подводы перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармоники.

Катя спросила:

– Вы – мобилизованные?

Парень, с свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:

– Ну да, значит, – мобилизованные.

– Воевать едете?

– Нет, не воевать.

– А что же?

Парень помолчал.

– Мир вам привезти.

– Как же это?

– А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флагами и вот этак мир вам прине-



сем. – Он расставил ладони, как будто держал в них большой, хрупкий шар. – И будет спокойствие.

– Я не пойму. К большевикам перейдете?

– Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто, сговоримся и уйдем.

В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени всползали на выбегающие мысы, и, в преднощной дремоте, с тихим плеском ложились волны на теплый песок, – Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:

– Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка... Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?

Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:

– Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так... Жизнь изжита, впереди – ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли, – и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю черт съест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.

– Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!

Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загрубевшую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:

– Давай умрем.

Катя вздрогнула, выпрямилась и впиалась глазами в его глаза.

– Убить себя? – Она вскочила. – У меня мелькала эта мысль... Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!.. Ни за что! Какая скупость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!

Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.

– А за что бороться... Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!

Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.

– Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, – ничего, ничего это никому не нужно!

И Катя увидела, – ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.

Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал. Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай собачонки на деревне. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла за-

снуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.

Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково приникал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато-серебристым светом. Вдали ярко забелела стена дачи, – одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.

Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.

*1920–1923*